## Медея и ее дети

Автор: *Улицкая Л.Е.*

Семейная хроника.

Медея Мендес, урожденная Синопли, если не считать ее младшей сестры Александры, осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе Таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского, только в таврических колониях сохранявшегося наречия.

Ей давно уже не с кем было говорить на этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов: и поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка — метафорисис и стол — трапеза… Таврические греки, ровесники Медеи, либо вымерли, либо были выселены, а она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовьей испанской фамилии, которую унаследовала от покойного мужа, веселого еврея-дантиста, человека с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами.

Овдовела она давно и больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень ей пришелся.

Первые десять лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка все по тому же черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ей голову и была завязана двумя длинными узлами, один из которых плоско лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, и темная кожа лица тоже была в мелких сухих складках.

Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной раме регистрационного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то неизвестный портрет Гойи. Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, также размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей было нетрудно встать в воскресенье до света и отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться к вечеру домой.

Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в Восточных холмах, либо на каменистых склонах гор к западу от Поселка.

Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории.

Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое собственного буфета. Она помнила не только где и когда можно взять нужное растение, но отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, сжигающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы.

Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости, зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного некогда чувства — начиная от первого июля девятьсот шестого года, когда маленькой девочкой посреди заброшенной дороги возле Ак-Мечети она обнаружила ведьмино кольцо из девятнадцати некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутившимся аквамарином, выброшенный к ее ногам утихающим после шторма морем на маленьком пляже возле Коктебеля двадцатого августа шестнадцатого года, в день ее шестнадцатилетия. Кольцо это носила она и по сей день, оно глубоко вросло в палец и лет тридцать уже и не снималось.

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест, ни на какие другие края не променяла бы этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель.

Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного, некогда стройного дома в греческом поселении, давно слившемся с Феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века.

Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца четырех торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору Феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно-огненную алчность, только диву давался, отчего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бессчетными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он после тридцатилетних трудов выколотил-таки себе. Но, может, в том была заслуга второй его жены, Антониды, которая по обету дошла до Киева, а родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может быть, многоплодие его сына шло от тощей рыжей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в дом скандально непорожней и рожавшей с тех пор раз в два года, в конце лета, с непостижимой точностью по круглоголовому младенцу. Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже образ властного, жесткого и талантливого купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворилась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, претворялась в бережливость, повышенное внимание к вещи и в изворотливую практичность.

Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек до облаков на небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести, разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья когда-нибудь собиралась вместе: всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал… Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только двое, она сама и младший из братьев Димитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем.

Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия.

Даже семейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий лежал с десятого года на феодосийском греческом кладбище, на самой его высокой точке, с видом на залив, где аж до второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту.

Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников, вела за ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усилился.

Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники появлялись обычно в конце апреля, когда, после февральских дождей и мартовских ветров, являлась из-под земли крымская весна, в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайски желтого дрока. Первый заезд обычно бывал кратким — несколько предпраздничных дней, первомайские, кое-кто дотягивал до девятого. Потом небольшая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста.

Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой: больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал.

Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.

В середине апреля, когда, казалось, погода устанавливалась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом. Задернув занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, два полена и немного хвороста, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала, то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню.

В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке. Медея, приняв за одного из редких племянников, впустила его в дом.

— Вы Медея Георгиевна Синопли?— спросил молодой человек, и Меде поняла, что он не из родни.

— Да, это я, хотя уже сорок лет ношу другую фамилию,— улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными книзу.— Раздевайтесь.

— Извините, как снег на голову. Равиль Юсупов, из Караганды…

Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в эту ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий же день, но так и не отправленном.

Много лет спустя оно попало в руки племяннику Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания Медеи, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного одиннадцатым апреля семьдесят шестого года. Письмо было следующее:

«Дорогая Еленочка! Хотя отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной в Феодосию в декабре восемнадцатого года? Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека без всяких адресных книг. История довольно обыкновенная: их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равиля с четырьмя детьми отправили в Караганду, это при том, что отец этих ребятишек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории — я имею в виду вашу эвакуацию — и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты дала тогда Юсиму в благодарность. Мать Равиля многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, который, скажу тебе откровенно, меня тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать — о мытарствах тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные и неофициальные шаги.

Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мой рассказ могли услышать его казахстанские и узбекские татары. Я рассказала ему, что помнила, о бывших моих соседях по Поселку, о Галие, о дедушке Ахмете-арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку, как из глаза, вытаскивал, о том, как выселяли здешних татар, в два часа, не дав и собраться, и как Шура Городкова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в три ручья, а на другой день ее разбил удар и она уж перестала быть начальницей, но лет десять еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас румыны стояли, ничего такого не было. Хотя, я знаю, евреев брали, но не в наших местах. Рассказала я ему и про то, как в сорок седьмом, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы ни умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах, вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша с мужем из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер.

Память у меня, слава Богу, еще хорошая, все держит, и мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорились, что назавтра я поведу его по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу: купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этот счет специальный указ, от сталинских еще времен.

Помнишь ли, Еленочка, каков был Восточный Крым при татарах! А Внутренний! Какие в Бахчисарае были сады, а сейчас по дороге в Бахчисарай ни деревца, все свели, все уничтожили… Только я постелила Равилю постель в Самониной комнате, как слышу, машина к дому подъехала. Через минуту — стучат. Он грустно так посмотрел на меня: это за мной, Медея Георгиевна.

Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой — хорошо за тридцать. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь: неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто зашел на ночлег, и все… Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг испарилась.

Пошла я открывать — стоят двое. Один из них — Петька Шевчук, сын здешнего рыбака, Ивана Гавриловича. Он мне, наглец, говорит: паспортная проверка — не пускаю ли я жильцов.

Ну, я ему отпустила по первое число: как ты смеешь ко мне в дом ночью вламываться? Нет, не пускаю я жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно и до утра меня не беспокоят. Свинья такая, посмел в мой дом прийти! Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала, здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила, а один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла, шутка ли: пятилетний ребенок — и все признаки мозгового поражения, а я кто — фельдшер! Ответственность какая…

Они повернулись и ушли, но машина не уехала, стоит возле дома наверху, мотор выключили.

А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно: спасибо, Медея Георгиевна, вы необыкновенно мужественный человек, редко такие встречаются. Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни Восточные холмы. Но я приду сюда, когда времена переменятся, я уверен.

Я достала еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, беседовали. Потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, с лета еще оставшиеся, но он не взял, все равно, сказал, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, и было хорошо. Петька возле машины стоит, и второй с ним рядом. Простились мы с Равилем, а у них уже и дверка распахнута. Вот, Еленочка, какая история приключилась. Да, шапку свою меховую он забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется еще вспять, вернутся татары и отдам я ему шапку-то? Право, это было бы по справедливости. Ну да как Бог рассудит. А пишу я тебе так спешно вот на какой случай: хотя никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала, это Самон был по этой части специалист, но, представь, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся? Чтоб знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла спросить, пришелся ли тебе впору новый слуховой аппарат. Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят, не стоит того, чтобы слышать, и ты не много теряешь.

Целую тебя. Медея».

Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен, огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.

Первым появился племянник Георгий с тринадцатилетним сыном Артемом. Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий густой запах.

— Режь да ешь,— сказал он сыну, но тот не понял, о чем говорит отец.

— Вон Медея белье вешает,— указал Артем.

Дом Медеи стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там, между большим орехом и старым уксусным деревом, была натянута веревка, и Медея, проводящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала сильно подсиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латаных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо-синее небо.

«Бросить бы все к черту и купить здесь дом,— думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая все еще не заметила их.— А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку…»

Последние десять лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи… Медея наконец заметила Георгия с сыном, бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась:

— А, приехали… второй день жду… Сейчас, сейчас я подымусь, Георгиу.

Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху, она провела ладонью по родным, черным с медью, волосам, погладила и второго:

— Вырос.

— А можно там посмотреть, на двери?— спросил мальчик.

Дверная коробка по бокам была вся иссечена многочисленными зарубками — внуки метили рост.

Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину облачка, случайно забредшего в голое небо.

Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх: черная Медея, Георгий в мятой белой рубахе и Артем в красной майке.

А из соседней усадьбы, через чахлый и кривой совхозный виноградник, следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоялица из Ленинграда, маленькая белая мышка Нора.

— Здесь народу собирается — тьма! Мендесихина родня. Вон Георгий приехал, он всегда первый,— не то с одобрением, не то с раздражением поясняла Ада постоялице.

Георгий был всего несколькими годами моложе Ады, в детские годы они вместе здесь хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и даже седины не нажил.

Нора завороженно смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная складка земли и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам — черной, белой и красной… Она любовалась пейзажем и думала с благородной грустью: написать бы такое… Нет, не справиться мне…

Была она художница, кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось: акварельные летучие цветы, флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она все приглядывалась к глициниям и предвкушала, как поставит одни кисти, совсем без листьев, в стеклянную банку, на розовую скатерть и, когда дочка днем будет спать, сядет рисовать на заднем дворике у тети Ады… Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду…

На маленькой площадке, как раз посередине между крыльцом дома и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Меде распоряжалась, что куда нести. Момент был ритуальный. Каждый приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их как будто не от своего имени, а от имени дома.

Четыре наволочки, два заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе — все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее второй ящик и поспешила на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла.

Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, еще покойным Мендесом была водружена деревянная будка уборной, вошел в нее и, сев без малейшей надобности на отскобленное добела деревянное сиденье, огляделся. Стояло ведерко с золой, поломанный ковшик при нем, висела на стене выцветшая картонка с инструкцией по пользованию уборной, написанная еще Мендесом, со свойственным ему простодушным остроумием. Заканчивалась она словами: уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть…

Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной, двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями, она была скифская, греческая, татарская, и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом… Среди племянников давно уже было установлено: лучший на свете вид открывается из Медеиного сортира.

А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который — сам знал — задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил:

— Пап, а когда на море пойдем?

Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в Нижнем поселке, ни тем более в Верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальнюю бухту, за двенадцать километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней, с палатками.

— Что ты как маленький,— разозлился Георгий.— Какое сейчас море? Собирайся, на кладбище сходим…

На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски-серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда-то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом — он помнил его с детства.

Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег.

«Не растет, в Зойку пойдет»,— с привычным огорчением подумал Георгий. Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещающими превратиться во что-то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девочка, первенец. Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько-сладкой.

Но теперь настроение у Артема стало прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую и молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище.

Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети, восточный же склон издавна был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали подниматься по склону вверх, как будто и мертвые продолжали неправедное дело изгнания.

Вообще-то предки Синопли покоились на феодосийском греческом кладбище, но к тому времени оно давно было закрыто, а отчасти и снесено, и Медея с легким сердцем похоронила мужа-еврея здесь, подальше от матери. Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истова православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков.

Над могилой Медеиного мужа стоял обелиск со звездой в навершии и надписью, вырубленной на цоколе:

«Самуил Мендес,

боец ЧОН, член партии с 1912 года.

1890—1952».

Надпись соответствовала воле покойного, звезду же Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый, луч и напоминала Рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации.

Слева от обелиска стояла маленькая стелла с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазками Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в пятьдесят четвертом году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда, старшего Медеиного брата Федора.

Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки, и Медея, как всегда, его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на Восточных холмах. Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и забросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке, Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил ему руку на плечо.

Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя округлыми горками, Близнецами, как шар в лузу.

В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, и только профили гор держали каркас этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены,— наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.

— Пошли,— бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью.

Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:

— Пап!— И тут же засмеялся: это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескивая ее на обочину.— Я думал, дорога движется.

Георгий понимающе улыбнулся…

Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.

— Давай обойдем стадо,— предложил Артем.

Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею: между двумя жесткими сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа, цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней тонкой палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.

Артем тоже присел возле змеиной кожи.

— Пап, ядовитая была?

— Полоз,— пригляделся Георгий,— здесь много их.

— Мы никогда такого не видели,— улыбнулась Нора. Она узнала в нем того — утреннего, в белой рубашке.

— Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел.— Георгий взял шуршащую кожу и расправил ее.— Свежая еще.

— Неприятная все же вещица,— передернула плечом Нора.

— Я ее боюсь,— шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи — круглыми глазами и острыми подбородочками — на котят.

«Какие милые малышки»,— подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.

— Вы у кого живете?

— У тети Ады,— ответила детская женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.

— А,— кивнул он,— значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там,— и он махнул в сторону Медеиной усадьбы и не оглядываясь сбежал вниз. Вприпрыжку за ним понесся Артем.

Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка, в полном безразличии к прохожим, трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.

— Ноги большие, как у слона,— с осуждением сказала девочка.

— Совсем не похож на слона,— возразила Нора.

— Я же говорю, не сам, а ноги…— настаивала девочка.

— Если хочешь знать, он похож на римского легионера.— Нора решительно наступила на змеиную кожу.

— На кого?

Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой, совершенно забывая о ее возрасте, поправилась:

— Глупость сказала! Римляне же брились, а он с бородой!

— А ноги как у слона…

Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате покойного Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея накинула выношенную меховую безрукавку, покрытую старым бархатом, а Георгий надел татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне.

Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна ее стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая поллитровка яблочной водки, которую она любила. В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восемью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь неполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи жизни и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.

Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта ее натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью, порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, но она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши:

— Вполне достаточно. Не наелся, возьми еще кусок хлеба.

Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.

Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывает в открытый очаг, примитивное подобие камина, небольшое поленце.

По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый, молодой. Поздоровались. Она дала ему телеграмму:

— Что, съезжаются ваши?

— Да, пора уже. Как Костя-то?

— А чего ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь…

При свете фар он прочитал телеграмму:

«Приезжаем тридцатого Ника Маша дети».

Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула.

— Ну что, тетушка, выпьем?— Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам.

«Как жаль,— думал он,— что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей».

Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей.

— Завтра с утра воздушку натяну,— сказал Георгий.

— Как?— не поняла Медея.

— Электричество на кухню проведу,— пояснил он.

— Да-да, ты давно уж собирался,— вспомнила Медея.

— Мать велела с тобой поговорить,— начал Георгий, но Медея отвела известный ей разговор:

— С приездом, Георгиу,— и взялась за рюмку.

— Только здесь я себя чувствую дома,— как будто пожаловался он.

— И потому каждый год пристаешь с этим глупым разговором,— хмыкнула Медея.

— Мать просила…

— Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте не буду я жить, ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте не меняют мест.

— Я в феврале там был. Мать постарела. По телефону с ней теперь разговаривать невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит.

— Твой прадед Харлампий тоже все газеты читал. Но тогда их не так много было.— И они надолго замолчали.

Георгий подбросил в огонь несколько хворостин, они сухо затрещали, и в кухне стало светлей.

Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную докторскую диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая трясина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал. Построил бы дом здесь… Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеиных друзей… Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья-то дача, надо спросить у Медеи чья…

Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах…

Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур…

Елена Синопли, мать Георгия, принадлежала к знаменитой культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги.

Медея Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год — а это был год двенадцатый — семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в гостинице в Феодосии и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медеиной репутации первой отличницы. Толстенькая приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы и не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи: сестры Степанян получали хорошее домашнее образование. Французскому и немецкому их учили гувернантки, к тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец.

Обе девочки, и Медея, и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные: легкие, с большим запасом прочности у Елены и трудовые, мозолистые у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки — темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце.

На следующий день после выпуска, около пяти часов, в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие медные волосы под белую косынку, возле большого стола в тени двух старых тутовых деревьев готовили тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе с помощью скалок, уже закончилась, и теперь они растягивали на руках огромный лист теста, слегка подкидывая его края на тыльных сторонах ладоней. Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие.

Госпожа Степанян всплеснула руками — в Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же.

— Моя бабушка это делала лучше всех!— воскликнула она и попросила передник.

Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени обтертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они тестяного листа.

Потом Матильда пригласила их в дом, они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминаниям об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия, в корне своем турецкие, еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому дружному семейству, и казавшийся ей столь сомнительным проект — пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери — показался ей теперь очень удачным.

Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну.

Через четыре дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак, на прекрасную дачу на берегу моря, которая и по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от Верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать на лето общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы…

Девочки нашли друг в друге совершенство: Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиной сдержанностью, самостоятельностью, мужским бесстрашием и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой от матери.

По ночам, лежа на немецких гигиенически-жестких складных кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они в то лето до рассвета.

Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес. А у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми была так богата ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной строгой даме, которую трепетали даже цветы на подоконнике.

К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась переписка и с некоторыми перерывами длилась уже более шестидесяти лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девочки, следу духовной моде тех лет, признаются друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях (…и у меня возникло острое желание ударить ее по голове! …история с чернильницами была мне известна, но я промолчала, и думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь. …и мама до сих пор уверена, что деньги взял Федя, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя,— и все это исключительно по-французски!). Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медеиным письмом от десятого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года. Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что седьмого октября вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария» и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль не смогли достать сразу же после его затопления, и только три года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов.

В эти октябрьские дни Матильда донашивала своего четырнадцатого ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на девятый день после гибели Георги последовали за ним.

Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу знакома санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала ей на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма:

— Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он ждет тебя…

Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький толстый старичок, Медея была выше его на голову. Он сказал ей, как говорят детям: «Золотко мое!» — и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове… Они с Матильдой в один год начинали свое дело: она — рожать, а он — заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам.

Их осталось тринадцать. Тринадцать детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков, с оркестром и оружейными залпами, младшим детям казались каким-то военным развлечением вроде парада.

В шестнадцатом году смерть не настолько еще осуетилась, как в восемнадцатом, когда умерших от сыпного тифа хоронили во рвах, еле одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром.

Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещеную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию.

Похороны матери запомнил даже самый младший, двухлетний Димитрий. Через четыре года он рассказал Медее о двух поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать открытому автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней ее лысеющий жених. Это был чуть ли не единственный автомобиль в городе, принадлежащий богачам Мурузи, и был он зеленого цвета,— об этом автомобиле и рассказал Медее Димитрий. И когда мальчик напомнил ей, она вспомнила и сама. Действительно, автомобиль был зеленым… Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы.

— Чайки?— удивилась Медея.

— Нет, одна побольше, а другая поменьше. И личики у них другие, не как у чаек,— объяснил Димитрий.

Больше ничего он вспомнить не мог.

В тот год было Медее шестнадцать. Пятеро было старших, семеро младших. Двоих в тот день не хватало, самых старших, Филиппа и Никифора. Оба они воевали и оба впоследствии погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь писала Медея их имена в одну строку в поминальной записке…

Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими тремя дочерьми она с ним едва управлялась. Четырнадцатилетний Афанасий и двенадцатилетний Гавриил обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в ее доме. Но не было им суждено поднять теткино хозяйство, потому что двум годами позже умная и дельная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще неоперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где на долгие годы и затерялись его следы. Последнее, что было известно о нем тетке,— что он живет в горах никому не известной Метеоры. Софья с дочерьми и Гавриилом прижилась в конце концов в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся со временем из розничной торговли восточными сладостями, в частности пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Гавриил, единственный в семье мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед второй войной тетку и лишь после войны, уже далеко не молодым, женился на француженке и родил двух французов с веселой фамилией Синопли.

Десятилетнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, содержатель кафе «Бубны» в Коктебеле,— он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни. Спустя месяц Анеля, старшая сестра Медеи, самая, как считали, красивая из сестер, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда очень к ней привязанная, а в последние дни просто от нее не отходившая.

Анеля была в смущении: как оставить троих малолетних на шестнадцатилетнюю Медею? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прожившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей:

— Пока я на ногах, пусть меньшие растут в доме.

Так все и решилось.

Через некоторое время Медея получила сразу три письма из Петербурга — от Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким:

«Вся наша семья глубоко сочувствует Вам в постигшем Вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем помочь Вам в трудную минуту».

«Тем немногим» оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на большой крест черного дорогого мрамора с выбитыми на нем именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде Понта Эвксинского, принявшего многих мореходов Синопли…

На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в двадцать шестом году, в октябрьские дни, задремав среди дня на лавочке, Медея увидела троих: Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоявших над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а почему-то трехлетней, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея. Не говоря о том, что при жизни бороды он никогда не носил.

Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе и не дремала, во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот волнующий запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, а в особенности этим ароматом они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.

Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене.

«Вот уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычное мистическое происшествие…»

Далее она переходит на французский: все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие, как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному наречию, в котором богатство оттенков как бы отсутствует.

И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она почувствовала тогда на кладбище.

«Qu‘en penses-tu?» — закончила она своим каллиграфическим почерком, который во французском варианте делался решительней и острей.

Письма долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на два-три месяца. Через три месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных посланий, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда казалось, что все потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября восемнадцатого года.

«За три дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через три недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, членом Крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными, анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто-то входит. Отец, подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь, изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупный человек и, как мне показалось, в халате. Видно было очень смутно — старик; лицо его было очень белым и как будто немного светилось. Было страшно, очень страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали: прадед Шинарарян. Мама рассказывала тебе об этой удивительной ветви ее предков, которые строили все армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: «Пусть все уезжают, а ты, деточка, останься. В Феодосию поедешь. Ничего не бойся».

И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак спешил и не успел целиком сложиться.

Так все и было, Медея. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, извозчик покойной княгини, в квартире которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород, к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии мы добирались две недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в родной дом, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом.

Ни мама, ни папа мне никогда даже во сне не приснились, наверное, оттого, что сплю я слишком крепко, никаким снам до меня не достучаться. Какое же счастье тебе, дорогая Медея, даровано — такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами — зачем, для чего… Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала твой любимый отрывок из Апостола, про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, в Крыму руку над нами держал, а здесь, в Азии, все по-другому, он далеко отстоит от меня, и церковь здешняя как пустая… Но грех жаловаться, все хорошо. Наташа болела, теперь почти уже выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня одна новость: будет еще один ребенок. Уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоем приезде. Может, собрала бы мальчиков да приехала весной?..»

Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Артем умывался у медного рукомойника, гремя подвижным соском. Через несколько минут, разбуженный медным бряцанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея.

Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива, все это знали и вопросами донимали ее по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню — разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней.

Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века,— в этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку.

«Надо, надо будет артезианскую скважину пробить»,— подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице-тропке, как будто приноровленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин.

Медея поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны. Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубей и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре, но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти, бедные, тем, многоработным, полным болтливого азиатского орнамента.

— Пап, а на море?— просунулся Артем.

— Вряд ли,— со скрытым раздражением бросил он сыну, отлично разбиравшемуся в оттенках отцовской речи.

Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поканючить, поныть, но, по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.

Пока вода согревалась на керогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяла в сундучок у изножья кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила,— принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость — и, так, давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна, давняя, многолетняя, обида сидела в ней глухой тенью… «Неужели и в могилу унесу?» — мимолетно подумала она.

Добормотав последнее, она тщательно, выработанным за многие годы движением сплела косу, свила ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела свое лицо в овальном зеркале, обложенном ракушками. Собственно, каждое утро она повязывала перед зеркалом шаль, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же — это было как-то связано с приездом Георгия — она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла себе челку и ненадолго завела парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомлявшего шею.

Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо — внимательно и строго, и поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот; она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, который носила…

«Красивая старуха из меня образовалась»,— усмехнулась Меде и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара — длиннолицая с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика мужчина с чересчур большими для его худого лица усами.

И снова Медея покачала головой: чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела,— это Самуил, дорогой ее муж Самуил ей внушил… Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографии увеличенный. Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице.

«Все хорошо. Все прошло»,— подумала Медея и, отогнав от себя тень старой боли, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих гостей была священна, и без особого приглашения туда не входили.

Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно так же, как Медея и как его мать Елена,— наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола, на невычищенном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила этого занятия — чистить медь. Может быть, оттого, что в патине она ей больше нравилась. Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать. Чашка была тяжелой и нескладной. Это был давний подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темно-сине-красная, в потеках запекшейся глазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования, она почему-то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке.

Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она приедет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника — поздней дочерью сестры Александры, разница в годах невелика.

— Скорее всего, прилетят утренним рейсом, тогда будут здесь к обеду,— сказала Медея вслух, как будто ни к кому не обращаясь.

Георгий промолчал, хотя и сам думал в этот момент, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы.

Нет, для мушмулы рано, прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Та кивнула и в молчании допила кофе.

Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар.

— Ну вот, то на кладбище, то на базар,— проворчал Артем.

— Не хочешь, можешь оставаться,— миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо.

Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте.

Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит.

— Ты сбегай к ним, спроси, не надо ли чего,— попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки.

Георгий с удовольствием смотрел вверх: трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный.

Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз, но не там, где поднимался Артем, а чуть выше, где склон обрывался над дорогой круто и трудно было спуститься на дорогу. Можно было разговаривать и оттуда, но ей почему-то хотелось спуститься, она замерла над маленьким обрывом. Георгий протянул ей руку:

— Прыгайте!

Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным.

Руки ее на ощупь оказались детскими, какими-то птичьими, но удивительно нежными. И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как и жена Зоя.

— Картошки нам купите? Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок. Только у меня денег с собой нет.— Она говорила очень быстро, чуть-чуть пришепетывая, и розовела на глазах.

— Хорошо, хорошо, принесу.— Он хотел подсадить ее, но она махнула маленькой рукой:

— Да я обойду, я просто сверху этого схода не заметила.

Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле.

Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Два кило картошки и пучок укропа…

Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят движения миров, звезд, облаков и овечьих отар.

Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все неслось куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой не оглядываясь идут два путника, и то, что открывалось впереди: горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки. И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем; позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов — столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться. Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте. Мать не особенно на этом настаивала, но и легенды не разрушала. Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на Север, прислал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях.

Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, вися на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни. В занятии этом ему не было равных, все царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский. Соседские ребята, убедившиеся в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спиленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели. За эти долгие часы он постиг мгновенье броска, знал его наизусть и кистью и глазом и испытывал наслаждение от огненного мгновенья этого соотнесения руки с ножом и желанной точки, завершавшееся дрожанием черенка в сердцевине цели.

Иногда он брал другой нож, тяжелый, кухонный, и выбирал другую цель, и нож с хрустом, или со стоном, или с тонким свистом входил в нее. Старый материнский дом, и без того ветхий, был весь в шрамах от его мальчишеских упражнений. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи.

Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного: писуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картина с голым, без кожи, человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками. Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо — по тем временам — оборудованный спортивный зал. Перекладина, брусья и кожаный конь стали его любимыми предметами с пятого класса.

В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как музыкальная, поэтическая или шахматная. Но тогда он не знал, что его талант ценится ниже, чем дарования интеллектуальные, и наслаждался успехами, все более заметными с каждым месяцем. Преподавательница физкультуры направила его в секцию ЦСК, и к Новому году он уже участвовал в первых соревнованиях. Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности — он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами.

К четырнадцати годам он был замечательно сложенный юноша, с правильным лицом, коротко, по спортивной моде, остриженный, дисциплинированный и честолюбивый. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место.

Но первого места на всесоюзных соревнованиях он не получил.

Он не знал важных вещей, прекрасно известных его тренеру: тайной механики успеха, высоких покровительств, судейских зажимов, бесстыдства и продажности в спорте. Две десятые балла, отодвинувшие его на второе место, показались ему столь жестокой несправедливостью, что он, скинув с себя в раздевалке бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голое тело.

Один из его старших сотоварищей — Бутонов был в сборной самым юным — раскрыл ему тайную сторону этого несправедливого поражения. Это был сговор, и тренер был припутан. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята — не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Теперь Валерий и сам прозрел.

Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Целыми днями он лежал под грушей, все обдумывая, как так произошло то, что произошло, и получил через неделю откровение: нельзя ставить себя в положение зависимости от других людей или от обстоятельств. Окажись над ним смоковница, может быть, откровение имело бы более возвышенный характер, но от русской груши большего ждать не приходилось.

Через две недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия — и каждое утро испытывал восторг пятилетнего мальчика, впервые приведенного в цирк. Учебный манеж был вполне настоящий: так же пахло опилками, животными, тальком. Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде мир — вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи, каждый стоил столько, сколько стоила его профессия: воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью. Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он, со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо. Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто.

«Это не спорт,— размышлял опытный Бутонов,— в спорте продажность, здесь — не так».

Он не смог бы сам до конца это сформулировать, но глубоко понимал, что на вершине мастерства, в пространстве абсолютного владения профессией, располагается крошечная зона независимости. Там, на вершине Олимпа, находились звезды цирка, свободно пересекающие границы стран, одетые в невообразимо прекрасную одежду, богатые, независимые.

Цирковое училище и по сей день вспоминает Бутонова. Всю цирковую науку он осваивал играючи — акробатику, жонглирование, эквилибр, и каждая из этих наук претендовала на Бутонова. В гимнастике ему не было равных.

С первых же месяцев учебы его звали в готовые номера. Он отказывался, потому что уже точно знал, кем он хочет быть — воздушным гимнастом. Все, что он ни делал, он соизмерял с броском ножа, со знакомым ему с детства мгновением истины — дрожанием черенка ножа в сердцевине цели…

Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского коробейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони. По-простому звали его Антоном Ивановичем. Родился он в трехосном фургоне, на линялой сине-красной попоне шапито, по дороге из Галиции в Одессу, от наездницы и акробата. Многие глубокие морщины вдоль и поперек покрывали его лицо и были столь же затейливы, как и многочисленные истории, которые он о себе рассказывал.

К концу второго года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте. Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке. Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и невесть откуда взявшееся благородство рук… и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу.

А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему. Все здесь было так обнаженно, так близко: выбритые подмышки и паховые складки, мускулистые ягодицы, маленькие плотные груди. Его сверстники, юные циркачи, наслаждались плодами сексуальной революции и артистической свободы, процветающей на задних дворах социализма, в оазисе Пятой улицы Ямского Поля, а он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо.

Антон Иванович вводил его в программу своего сына. Джованни — Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Он был одним из первых цирковых, кто ввез в Россию иномарку — красный «фольксваген», устаревший для Германии, но опережавший медленно текущий отечественный прогресс на три десятилетия.

Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая блядовитая жена Лялька язвила:

— Если бы я под ним столько лежала, сколько он под своей машиной, цены б ему не было…

С отцом у младшего Муцетони отношения были непростые. Хотя сыну было сильно за тридцать и в глазах Бутонова он был уже не молод, да и по цирковым понятиям это был уж возраст, пенсионный для «воздуха», отца он боялся, как мальчишка. Много лет они работали вместе, Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен. Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением:

— Что Ваня умеет делать в совершенстве, так это падать…

Эта часть профессии была чрезвычайна важна: работали они под куполом, и хотя страховка была двойная — лонжи, пристегнутые к поясам карабинами, и сетка,— разбиться можно было и об сетку. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший, по своей природе, первопроходцем. Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н.Н., через несколько лет стал повторять этот номер. Сейчас, когда все цирковые готовились к большому цирковому фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу: восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны. С неохотой подчинился Джованни отцу — заставил-таки его старик работать с полной отдачей. У Валерия, постоянно присутствующего на репетициях, просто мышцы дрожали — так хотелось ему себя попробовать в этом длинном и сложном полете, но Антон Иванович и говорить об этом не хотел. Держал его в паре с племянником Анатолием, делали они встречные полеты синхронно, четко, но этим никого нельзя было удивить — все воздушные гимнасты этот номер работали.

Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но наконец настал день, когда поехали в Измайлово, в Центральную дирекцию, сдавать программу художественному совету. Решалась поездка в Прагу — для Бутонова первый выезд за рубеж.

В дирекции стояла большая суматоха — съезд цирковых звезд и циркового начальства. Все нервничали. Время уже близилось к показу, Антон Иванович полез наверх, осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы. Инспектором манежа был старый его конкурент Н.Н., и хотя должность его была такова, что он своей свободой отвечал за технику безопасности, Антон Иванович был в напряжении.

Ване была отведена отдельная уборная, Валерию с Толей — другая, в третьей разместились женщины, их было трое: две молодые гимнастки и двенадцатилетняя Нина, дочь Вани, несомненная будущая прима. Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань: какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал. Анатолий подошел к двери, послушал:

— Чего они к нему привязываются, нормально он поставил…

Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло. Через несколько минут в их уборную постучали, всунулась Нина:

— Валер, тебя Тамара зовет.

Тамара, молодая гимнастка, подкатывалась: это Валере одновременно и льстило, и раздражало.

Валерий заглянул к ней.

— Валер, как тебе мой грим?— подставила она свое круглое личико под Валерин взгляд, как под солнышко. Грим был обыкновенный, как всегда: желтовато-розовая основа, а на ней два нежно-малиновых крылышка искусственного румянца да густо обведенные синим, подтянутые к вискам глаза.

— Нормально, Тамар. Модель «очковая змея»…

— Да ну тебя, Валер,— кокетливо передернула залитой лаком, как у пупса, головой Тамара,— всегда только гадости говоришь!

Валерий развернулся, вышел в коридор; из двери Ваниной гримуборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке. Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через десять минут был выход.

Все шло точно, было разыграно по секундам: вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет… Партитура была вытвержена, даже до вдоха-выдоха, и все шло отлично. Джованни в этом номере берегся, стоял враспор, под куполом, на верхотуре, как бог, держал на себе свет, пока молодежь порхала. Работали чисто, грамотно, но ничего выдающегося не было; «коронка» — тройное сальто с пируэтом — была за Джованни. Не все члены художественного совета видели этот номер, он уже лет десять не исполнялся.

В режиссуре старый Муцетони очень понимал, все обставил эффектно: свет гибкий, плавает, музыка поддерживает, потом разом — полный обрыв, весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте, вырубка музыки на самом максимуме звучания. Джованни весь блестит, голова в золоте, на ногах — поножи: хороший художник ему придумал такую обувку, чтобы скрыть врожденную кривоногость. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову — демон, чистый демон… Мгновенное движение руки к поясу — проверка карабина.

Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось — слишком долго он карабин проверяет, что-то не так… Но пока все во времени, без опоздания. Дробь смолкла. Раз, два, три… лишняя секунда… трапеция уходит назад… замерла… толчок… прыжок… Джованни еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота… точно…

Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на двадцать, не успевает, тянется в полете за трапецией, пытается догнать — чего никогда не бывает — и вылетает из отработанной геометрии, летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее — тряхнет, сбросит… Об край… точно…

Сетка спружинила, подбросила Ваню — не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать… Провал, конечно, провал… но не разбился…

Но — разбился. Опустили сетку. Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин — собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая — череп, позвоночник? Положили на доску. «Скорая» пришла через семь минут. Повезли в лучшее место по черепным травмам — в Институт Бурденко. Антон Иванович поехал с сыном.

Валерий увидел своего мастера только через две недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги.

Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Черная мысль не покидала его: он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком. Про себя он знал, что его такой случай не сбил бы, смог бы нервы удержать. Да и было у него когда-то такое же, сходное, когда снял он с себя пояс, отстегнулся и пошел… А Ваня психанул, потерялся — и «рассыпался»… Странность была еще и в том, что перед самым выходом вызвали его переставлять машину, хотя стояла она на месте, Антон Иванович потом сам проверял: проходила фура…

Когда Антон Иванович свое неясное подозрение высказал Валерию, тот выдавил из себя:

— А к Ване не только рабочие с хоздвора приходили…

Антон Иванович схватил его за рукав:

— Говори…

— Когда он ушел машину переставлять, к нему в уборную Н.Н. заходил. То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил.

К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа Н.Н.

— Ё-мое.. хорош же я, старый дурак,— схватился за свое обвислое лицо Антон Иванович.— Вот оно какое дело… Самое оно…

Валерий навестил Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге,— от подбородка до крестца. Волосы поредели, две глубокие залысины поднялись ото лба вверх. Моргнул — привет.

Почти не разговаривал. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел минут десять на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать. Бе-ме — и замолчал. Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался.

Стояла глухая мокрая осень. Расторгуевская груша облетела, стала черная, как будто горелая, и не мог Бутонов полежать под ней, послушать, не явится ли ему новое откровение. До окончания училища оставалось полгода. Прага, на которую Бутонов огромные надежды возлагал, пролетела. Пролетало и училище. Тусклые Ванины глаза не выходили из головы Валерия. Вот только что был Ваня — Джованни Муцетони, знаменитый артист, каким хотел быть Бутонов: богатым, независимым, выездным,— и машина под ним ходила самая лучшая из всех, что Бутонов видел,— давно уже не красный горбатый «фольксваген», а новенький белый «фиат». И так все рухнуло, в один миг. Не было, оказывается, никакой независимости — одна видимость. И неподвижное инвалидство до самой смерти…

Зимнюю сессию, последнюю, Бутонов сдавать не пошел. Были в училище кроме специальных обыкновенные школьные предметы, и диплом без сдачи этих презренных наук не давали. Бутонов вообще больше не пошел в училище. Полгода пролежал на диване, ожидая повестки в армию. В феврале ему исполнилось восемнадцать, и в начале мая его забрили. Предложили сначала идти в ЦСК — сработал его первый разряд по гимнастике, но он, к большому изумлению военкома, отказался. Все Бутонову было безразлично, но в спорт возвращаться он не хотел. Пошел как все…

Вернулся он в Расторгуево через три года, прибавив восемь килограммов весу и три сантиметра росту, и дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстернате диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в Институт физкультуры. Всех перехитрил — на лечфак.

Настоящий учитель встретился Бутонову в институте, на третьем курсе. Это был мелкий, неказистый человек, из кавэжэдистов, с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полу-Европе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда только входили в моду, и преподавал китайский массаж.

Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности; в пальцах его было много независимости и ума, он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура.

Если бы Бутонову хватало слов и определенной гуманитарной культуры, он мог бы рассказать о бодром настроении спины, о радости ног, об уме пальцев, так же как и о лени в плечах, нерасположенности к усилиям бедер или сонливости рук, и все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознавать в лежащем перед ним на массажном столе человеке.

Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Тонкий знаток Востока, он пытался заинтересовать незаурядного ученика благородной йогой, мудрой «Бхагавад-гитой», изящным китайским учением ба-гуа. Но к области духа Бутонов оказался совершенно глух.

— Это все слишком умственное,— говорил он и делал легкое движение правой кистью.

Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и китайский точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами. Сам Иванов имел в те годы большой успех не только как великий массажист, услугами которого пользовались разные редкие знаменитости — чемпион мира по поднятию тяжестей, гениальная балерина, скандальный писатель. Он участвовал в разных семинарах на дому — изысканных развлечениях тех лет,— вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности, по крайней мере к той ее части, которая видна была с поверхности. К другой, осведомительской, стороне его деятельности Бутонов был непричастен и только через многие годы вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах.

Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги, своих слушателей, высоким путем освобождения прямо в мокшу, а Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи.

Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика, у академической дочери. Участники собрания все, как один, были сделаны из тестообразной плоти, и Бутонов должен был обучить их тому самочувствию тела, в котором сам так преуспел. Все они были ученые — физико-химико-математики, и Бутонов испытывал ко всем совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которое из нежного природно-розового во время упражнений становилось угрожающе красным. Через два месяца после знакомства, к неодобрительному изумлению друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком:

— И что с этим роскошным зверем будет делать бедная Олечка!

Но Оля с ним ничего особенного не делала. Она была человеком довольно холодным и головным: к этому времени она уже защитила диссертацию по топологии — заповедной области математики, и ювелирная умственная работа была главным содержанием ее жизни.

Валерий не испытывал особого почтения к маленьким крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на женином столе, он только хмыкал, глядя на лист, покрытый мелкими значками и редкими человеческими словами с левой стороны: определение, пример, предложение, задача…

Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий бесконечно удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени: она ленилась делать даже те несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров.

Валентина Федоровна, Валерина мать, невестку невзлюбила, во-первых, за то, что она была четырьмя годами его старше, а уж во-вторых — за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась и даже, к досаде Валентины Федоровны, этого нерасположения просто не замечала.

Супружеские радости были весьма умеренными. Валерий, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, совершенно упустил из виду ту небольшую группу мышц, которая ведает сугубыми наслаждениями. Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности по отношению к женщинам: они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки, облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние, и ценность его собственного тела еще более подчеркивалась удивительной доступностью женских прелестей и множеством предложений.

Все было спокойно и складно в бутоновской семейной жизни. Поженились они спустя три месяца после Ольгиной защиты диссертации, еще через три месяца она забеременела, а за три месяца до своего тридцатилетия родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой и маломощной, с продовольственной точки зрения, грудью очень маленькую девочку, родившуюся от двух таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистам. Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом. Зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты: от ресторана ВТО до цековской билетной кассы. Через год большой теннис вывез-таки его за границу, сначала в Прагу — добрался до нее Бутонов!— а потом и в Лондон. Это все, о чем можно было мечтать.

К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных — спортсменов, балерин и артистов — в безукоризненной форме, но кроме того, он занимался тяжелой посттравматической реабилитацией. Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе своих возможностей, и граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал безнадежного Ваню Муцетони, с которым работал с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил к Муцетони Иванова, Иванов присылал как-то великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травными свечами. Но главная работа была бутоновская: шесть лет подряд два раза в неделю, почти без пропусков, он шаманил над Ваниной спиной, и тот встал, мог пройти по квартире, опираясь на специальный снаряд, и медленно, очень медленно стал восстанавливаться.

Как-то в середине октября он приехал к Муцетони хмурый, не в настроении, полтора часа отработал с Ваней и собрался уходить — без чаю-кофе, как было заведено. Ванина жена Ляля его задержала, принесла чай, разговорила.

Бутонов пожаловался, что назавтра ему надо ехать в дурацкую поездку — в никому не нужный город Кишинев, на показательные выступления с группой спортсменов.

Лялька вдруг засуетилась, обрадовалась:

— Поезжай-поезжай, там сейчас чудо как хорошо, а чтоб ты не соскучился там, я поручение тебе дам: отвезешь моей подружке подарок.— Она порылась в шкафу и вытащила белый мохеровый свитер.— Они в пригороде живут, знаменитая конная группа Човдара Сысоева. Не слыхал? Старый страшенный цыган, а Розка — наездница.— Лялька сунула свитер в пакет и написала адрес.

Бутонов без большой охоты взял посылочку.

…Первый день в Кишиневе был у Бутонова свободным, и, переночевав в гостинице, рано утром он вышел на улицу и пошел по незнакомому городу в указанном направлении — к городскому базару. Город был невзрачный, лишенный даже намека на архитектуру, по крайней мере в той части, которая открывалась Валерию в утреннем, тающем на глазах тумане. Но воздух был хороший, южный, с запахом сладких гниющих на земле плодов. Запах приносился откуда-то издали, потому что на улицах новой застройки не было никаких деревьев, только красные и багровые астры, целиком ушедшие в цвет и не имеющие никакого аромата, росли из прямоугольных газонов, обложенных бетонными плитами. Было тепло и курортно.

Валерий дошел до базара. Возы и арбы, лошади и волы запрудили небольшую площадь, невысокие мужики в теплых меховых шапках и в вислых усах таскали корзины и ящики, а бабы устраивали на прилавках горки из помидоров, винограда и груш.

«Надо бы домой взять»,— бегло подумал Валерий и увидел прямо перед собой помятый зад автобуcа с нужным ему номером. Автобус был пустой. Валерий сел в него, через несколько минут в кабину влез водитель и, ни слова не говоря, тронул.

Дорога довольно долго шла по пригороду, который все хорошел, мимо мазаных домиков, садов, маленьких виноградников. Остановки были частыми, по пути набились дети, потом все разом вышли возле школы. Почти через час добрались до конечной остановки в странном промежуточном месте — не городском и не деревенском.

Валерий еще не знал, какой важный день в его жизни начался сегодня утром, но почему-то прекрасно запомнил все несущественные подробности. Два маленьких заводика стояли с обеих сторон дороги и дымили, совершенно пренебрегая законами физики, согласно которым ветер должен был бы относить их сивые дымки в одном направлении, а они почему-то дымили в лицо друг другу. Наблюдательный Бутонов пожал плечами. Вдоль дороги рядами выстроились теплицы, и это тоже было странно: на черта здесь теплицы, когда в конце октября двадцать градусов и без стекол все отлично поспевает…

Дальше вдоль дороги стояли хозяйственные постройки и конюшня. Туда и направился Бутонов. Издали он увидел, как открылись ворота конюшни, проем наполнился бархатной чернотой и из него, скаля белые зубы, вышел высокий черный жеребец, который от неожиданности показался Бутонову огромным, как конь под Медным всадником. Но никакого Медного всадника не было и в помине, жеребца вел в поводу маленький кудрявый мальчишка, который при ближайшем рассмотрении оказался молодой женщиной в красной рубахе и грязных белых джинсах.

Сначала Валерий обратил внимание на ее сапоги — легкие, но с толстым носком и грубым запятником, очень правильные сапоги для верховой езды,— а потом он встретился с ней глазами. Глаза ее были зеркально-черными, грубо удлиненными черной краской, взгляд внимательный и недоброжелательный. Все остановились. Жеребец коротко заржал, она похлопала его по холке ярко-белой рукой с длинными красными ногтями.

— Тебе Човдара?— довольно грубо спросила она.— Он там.— И указала в сторону ближайшего сарая, после чего поставила ногу в высоко подобранное стремя и вспорхнула в седло, обдав Валерия каким-то сладким, тревожным и совершенно не парфюмерным запахом.

— Нет, мне Роза нужна.— Валерий уже понимал, что она и есть эта Роза.— У меня посылка от Ляли Муцетони.— Он вытащил из сумки пакет и поднял его.

Она соскочила на землю, взяла пакет, кинула его в распахнутые ворота конюшни и, сверкнув зубами, не улыбнувшись, скорее — оскалившись, быстро спросила:

— Ты где остановился?

— В «Октябрьской».

— Ага, ладно. Я занята сейчас,— помахала рукой, вскочила на лошадь и, гикнув, с места ударилась в галоп.

Он смотрел ей вслед, испытывая раздражение, восхищение и еще что-то, в чем ему предстояло долго разбираться. Так или иначе, это был последний день в его жизни, когда он еще совершенно не интересовался женщинами.

Вечером Валерий долго лежал в гостиничной пахнущей стиральным порошком койке, вспоминал наглую цыганку, ее великолепного жеребца и небольших редкопородных желтых лошадок, которых наблюдал в загоне за конюшней, ожидая на остановке автобуса.

«Неприятная все-таки девчонка»,— думал Валерий, соскальзывая в сон, отливающий лошадьми, запахами конюшни и медлительной радостью пустого теплого дня, когда легкий, длинный и дробный стук в дверь вывел его из этого состояния. Он приподнялся с подушки.

Дверь, как оказалось, он забыл запереть, она медленно открылась, и в номер вошла женщина. Валерий молчал, вглядываясь. Подумал сначала, что горничная.

— А, ждал,— хрипловато сказала женщина, и тут он ее узнал — это была утренняя всадница.

— А я решила, если спросишь, кто там, повернусь и уеду,— без улыбки сказала она и села на кровать.

Она снимала те самые сапоги, которые он про себя утром одобрил. Сначала наступила на задник левого и сбросила его, потом стащила руками правый с некоторым усилием и отбросила его в угол.

— Ну чего ты глазами хлопаешь?— Она встала возле постели, и он увидел, как она мала ростом. И еще успел подумать, что ему совершенно не нравятся такие маленькие и острые женщины.

Она стянула с себя белый свитер, тот самый, подарочный, расстегнула кнопку на грязных белых джинсах и, не снимая их, нырнула под одеяло, обняла его и сказала голосом трезвым и усталым:

— Весь день меня жгло, так тебя хотелось…

Валерий выдохнул воздух и навсегда забыл, какие же это женщины ему обыкновенно нравились…

Все, что он о ней узнал, он узнал позже. Была она вовсе не цыганка, а еврейка из питерской профессорской семьи, ушла к Сысоеву семь лет тому назад, дочку ее от первого брака воспитывают ее родители и ей не доверяют. Но самое главное и поразительное было то, что к утру он обнаружил, что в свои неполные двадцать девять лет он пропустил целый материк, и непостижимо было, как удалось этой тщедушной девчонке, такой горячей снаружи и изнутри, погрузить его в себя до такой степени, что он казался самому себе тающим в густой сладкой жидкости розовым леденцом, а вся кожа его стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникало насквозь, в самую душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом нутре, в самой глубине. Он ощущал себя вывернутым наизнанку и понимал, что, ни заткни она ему тонкими пальчиками уши, душа его непременно вылетела бы вон…

В шесть часов утра диковинные часики, не снятые с ее руки, слабо чирикнули. Она сидела на подоконнике, обняв ногами его поясницу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие.

— Все,— сказала она и погладила выступающий бугорок через тонкую пленку своего живота.

— Не уходи,— попросил он.

— Уже ушла,— засмеялась она, и он заметил, как по-вурдалачьи выпирают вперед верхние клычки. Он погладил пальцами ее зубы.

— Нет, я не вурдалак,— засмеялась она.— Я блядь обыкновенная. Тебе нравится?

— Очень,— честно ответил он, и она соскочила, оставив его стрелу невыпущенной.

Она пошла в душ. Ноги у нее были кривоваты и не очень ловко вставлены. Но желание только накалялось. Он вынул из переворошенной постели порванные золотые цепочки, соскользнувшие ночью с ее шеи. Вода ревела в душе, он перебирал пальцами цепочки и смотрел в окно. Был тот же блестящий туман, что и вчера, и солнце угадывалось за его тающим блеском.

Покрытая крупными каплями воды, она вошла в комнату. Он протянул ей цепочки. Она взяла их, распустила во всю длину и кинула на стол:

— Починишь, тогда и отдашь. Сегодня среда?

Она стряхнула с маленькой груди остатки воды, с трудом натянула на узкое мокрое тело джинсы. В пружинистых ее волосах, в прическе, которая еще не называлась «афра» и была ее собственной и ничьей больше, тоже лежали круглые капли воды. Несколько маленьких, жестких даже на вид шрамов, уже волнующих и любимых, отмечали ее тело под грудью, с левой стороны живота и на правом предплечье. Кажется, она была совершенно неженственной. Но все женщины, которых он знал прежде, в сравнении с ней казались не то манной кашей, не то тушеной капустой…

— Знаешь, Валера, что? Мы встретимся с тобой ровно через неделю на Центральном почтамте в Питере. Между одиннадцатью и двенадцатью…

— А сегодня?— спросил Бутонов.

— Нет, нельзя. Сысоев тебя убьет. А может, меня…— Она засмеялась.— Не знаю точно, но кого-нибудь убьет…

У них было еще три встречи — в течение года. А потом она исчезла. Не от Валерия исчезла, а вообще. Ни родители, ни Сысоев не знали, с кем и куда она девалась…

С тех пор Бутонов женщинам почти не отказывал. Знал, что чудес не бывает, но если пребывать на грани возможного, на пределе концентрации, то и здесь, в самом телесном низу, пробивает молния, все озаряется и вспыхивает то самое чувство: нож, направленный в цель, вздрогнув, замирает в самой ее сердцевине.

Вернувшись в десятом часу вечера из бухт и уложив спящих малышей, взрослые расселись на Медеиной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось: в воздухе висело какое-то неопределенное «продолжение следует». Даже Нора, прилежная мать, согласилась уложить дочку в чужом месте, чтобы посидеть еще на Медеиной кухне.

Георгий вышел покурить. Он сидел возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник распахнутой двери кухни. Свет был двойной и зыбкий: желтый от керосиновой лампы и низко-малиновый от очага. Прихваченные за день опасным весенним солнцем, лица казались густо нагримированными. Рядом с темной Медеей сидела светлая Нора, с заколотыми высоко волосами и подобранной челкой,— Ника велела намазать ей лицо кефиром, и оно теперь матово блестело. Лоб ее, когда она подобрала волосы, оказался слишком высок и выпукл, как бывает у малых детей и немецких средневековых Мадонн, и этот недостаток делал ее лицо еще милей. Еще видна была Георгию могучая спина Бутонова в розовой майке да крылатая Никина тень — гриф гитары и руки колыхались на стене. В центре стола, как драгоценный шар, стоял самовар, но чаю не варил. Хотя Георгий и провел наконец на кухню воздушку, но в этот день электричества в Поселок почему-то не подавали.

Кроме света наружу выливалась еще и мелодия, выпеваемая простым и выпуклым Никиным голосом и поддерживаемая незатейливыми аккордами не ученой музыке руки.

Тогда все пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. Они раздражали его манжетами и бархатом камзолов, синевой и позолотой, запахами молока и меда, всей романтической прелестью, а главное, может быть, тем, что они были пленительны, против его воли вползали в душу, долго еще звучали и оставляли в памяти какой-то след.

Работа его многие годы была связана с палеозоологией, мертвейшей из наук, и это придало странную особенность его восприятию: все в мире делилось на твердое и мягкое. Мягкое ласкало чувства, пахло, было сладким или отталкивающим — словом, было связано с эмоциональными реакциями. А твердое определяло сущность явления, было его скелетом. Георгию достаточно было взять в руки одну створку устрицы, вмурованную в склон холма где-нибудь в Фергане или здесь, под Алчаком, чтобы определить, в каком из десяти ярусов палеогена жил этот мясистый, давно исчезнувший моллюск, его крепкая мышца и примитивные нервные узлы, то есть все то, что составляло незначительную мякоть. Так и песни эти казались Георгию мякотью, сплошной мякотью, в отличие, скажем, от песен Шуберта, в которых он чувствовал музыкальный костяк, благо что и немецкого языка он не знал.

Он придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда так хорошо видна была Нора с милым и сонным лицом.

«Такая северная девочка, не очень счастливая с виду,— размышлял он.— Петербурженка. Есть такой тип анемичных блондинок, с прозрачностью в пальцах, с голубыми венками, с тонкими лодыжками и запястьями… и сосок у нее, наверное, бледно-розовый…»

И его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо прозрачными ладонями.

Юность его, с геологическими партиями, с поварихами из отчаянных местных, лаборантками и всегда готовыми подставить под комариные укусы мускулистые бедра подругами-геологинями, была давно позади. Из армянской смеси упрямства и лени, а также из-за приверженности мифологии семьи, внушенной матерью, наперекор общепринятой легкости, всем привычкам его круга, наперекор снисходительной насмешливости друзей он хранил угрюмую верность толстой Зойке, но никогда не мог вспомнить, как ни старался, чем же она ему понравилась пятнадцать лет тому назад. Ничего, кроме трогательного жеста складывания беленьких носочков ровненько, один на другой… И он снова вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал.

«Ушел»,— с огорчением отметила Нора.

Не было на кухне и Маши. Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови и поняла, что на нее надвигается один из редких и необъяснимых приступов. Муж ее Алик, врач, размышляющий над каждой болезнью как над самостоятельной задачей, считал, что у Маши какая-то редкая форма сосудистой аллергии. Однажды такой приступ начался на его глазах в деревне, куда они приехали справлять Новый год. Маша прикоснулась рукой к медному соску рукомойника, и он оставил след, подобный ожогу. Через два часа у нее поднялась температура, а к вечеру она вся покрылась аллергической сыпью.

На этот раз с ней происходило нечто подобное, но не от прикосновения равнодушной меди, а от мимолетного прикосновения Бутонова. Впрочем, может, просто перегрев, весеннее солнце… Но правое предплечье было багровым и слегка отекло.

Едва добравшись до дому, Маша сразу же легла, укрывшись всеми попавшимися под руку одеялами, и впала в полусон.

Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает, а вода не набирается. А одновременно с этим сами собой складывались какие-то неструганые строчки, в которых был берег, горячее солнце и неопределенное ожидание, смешанное с реальной жаждой…

А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога от горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство. Это была потребность ее души, пища, близкая к духовной, и не было у Ники выше минуты, чем та, когда она разворачивала к себе мужчину, пробивалась через обыкновенную, свойственную мужчинам озабоченность собственной, в глубине протекающей жизнью, пробуждала к себе интерес, расставляла маленькие приманки, силки, протягивала яркие ниточки — к себе, к себе, и вот он, все еще продолжающий разговаривать с кем-то на другом конце комнаты, начинает прислушиваться к ее голосу, ловит интонации ее радостной доброжелательности и того неопределенного, ради чего самец бабочки преодолевает десятки километров навстречу ленивой самочке,— и вот помимо собственного желания намеченный Никой мужчина уже тянется в тот угол, где сидит она, с гитарой или без гитары, крупная, веселая рыжеватая Ника с призывом в ярких глазах… Это, может быть, и было моментом высшего торжества, не сравнимым ни с какими другими физиологическими радостями, когда дичь начинала петлять по комнатам с пустым стаканом в руке и с растерянным видом, приближаясь к смутному источнику, и Ника сияла, предвкушая победу.

Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки, напротив Ники, был уже у нее в руках. При всем своем незамысловатом великолепии он был простенькой дичью, отказывал женщинам редко, но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям. Сейчас ему хотелось спать, и он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника, со своей стороны, совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Она легко встала, положила гитару в кресло Медеи, которая уже ушла к себе.

— А дальше — тишина,— улыбнулась Бутонову улыбкой, обещающей продолжение вечера.

Цитаты Бутонов не уловил.

«Завелась старуха»,— снисходительно подумал Георгий.

— Сейчас послушаем детей,— обратилась она как будто к Норе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать.

Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что: все спали после утомительного похода, только Лизочка, по обыкновению, дышала со сладкими вздохами. Маленькая Таня спала поперек широченной тахты, с краю стройненько вытянулась Катя, не переставая и во сне следить за осанкой. Посреди комнаты стоял большой коммунальный горшок.

— Хочешь, ложись здесь,— указала Ника на тахту,— а хочешь, в маленькой, там постелено.

Нора легла рядом с дочкой. Шел уже четвертый час, и спать оставалось недолго.

Ника вернулась в кухню и легким мимоходным движением положила руки на шею Бутонова:

— Ты обгорел…

— Есть немножко,— отозвался Бутонов, и Нике вдруг показалось, что никакой победы не произошло.

— Ладно, пошли, что ли,— не обернувшись, голосом без всякого выражения предложил Бутонов.

Было в этом что-то неправильное, не по любимому канону, но Ника не стала кокетничать, прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой горячим розовым трикотажем.

Все последующее, происходящее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания. Оба участника мероприятия остались вполне довольны. Бутонов после ухода Ники облегчился в дощатой уборной в конце участка — чего ему не удавалось сделать в течение длинного и многолюдного дня — и уснул здоровым сном.

Ника вернулась домой уже по свету, спать ей совершенно не хотелось, напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное ей за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью. Она тщательно перемыла вчерашнюю посуду и поставила на примус кашу. Она, напевая что-то, мешала длинной ложкой в большой кастрюле, когда вошла Медея за своей чашкой кофе.

— Мы тебе вчера не очень мешали?— поцеловала Ника сухую Медеину щеку.

— Нет, детка, как обычно.— И Медея коснулась Никиной головы. Она любила Никину голову: волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила.

— Мне показалось, ты вчера очень устала?— полуспросила Ника.

— Знаешь, Ника, я раньше за собой такого не замечала. Весь последний год я как будто все время усталая. Может, старость?— простодушно ответила Медея.

Ника убавила огонь в примусе.

— А тебе больничка твоя не надоела? Может, бросишь?

— Не знаю, не знаю. Привыкла работать — холопский недуг.— И Медея встала, закончив разговор.

Эти мимолетные фразы были самой большой интимностью, на которую Медея была способна. Ника ценила это как знак их особой близости.

Вошла Маша, в куртке поверх ночной рубашки, с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи.

— Машка! Что с тобой?— ахнула Ника.

Маша жадно пила из кружки и, допив, странно сказала:

— А ведро-то было полное… Аллергия у меня.

— Не краснуха ли?— встревожилась Медея.

— Откуда ей? Сегодня к вечеру пройдет,— улыбнулась Маша.— Ночь была ужасная. Жар, озноб. А теперь уже все.

В кармане куртки лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. Маше оно пока что очень нравилось, и она повторяла его про себя:

«В корзине выплыло дитя, без имени, в песке прибрежном лежит, и, белые одежды надевши, фараона дочь спешит судьбе его помочь. Попалась рыбка на уду, по берегу хвостом забила, я все забыла, все забыла, я имя вспомнить не могу, и я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю и, просыпаясь, снова жду. Чего я жду, сама не знаю».

Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность: она влюбилась. И еще была слабость, обыкновенная слабость после подъема температуры.

Александра, меняющая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в Малом театре, где работала с середины пятидесятых годов у старой знаменитости костюмером, а он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели. Александра, всю жизнь легкая на любовь, была равнодушна к богатству, но обожала блеск.

Брак с Алексеем Кирилловичем был недолгим — это были самые скучные три года в ее жизни, и закончились они скандально: застал-таки ее в неурочный час Алексей Кириллович с глухонемым красавцем истопником, обслуживавшим тимирязевские дачи. Алексей Кириллович глубоко изумился и навсегда вышел вон, оставив жену в объятиях исполинского Герасима. Сандрочка плакала до самого вечера. Алексея Кирилловича видела с тех пор только один раз — на суде, когда разводились, но до самого сорок первого года получала по почте деньги. Сына Алексей Кириллович видеть не пожелал.

Истопник, разумеется, был незначительным эпизодом. Были у нее разные блестящие связи: бравый летчик-испытатель, и знаменитый академик, и остроумный еврей, и неразборчивый бабник, и молодой актер, данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма. Вышла замуж второй раз за военного, Женю Китаева, родила от него дочь Лидию, а потом и этот брак замялся. Хоть они и не разводились, но жили порознь, и вторая дочь, Вера, родившаяся перед войной, была от другого отца — человека с таким громким именем, что Китаев скромно молчал до самой своей гибели.

Но теперь ей было уже за пятьдесят, и на огонь ее тускнеющих волос уже не летели тучи поклонников. Тогда она вздохнула и сказала себе: ну что ж, пора… обвела зорким женским взглядом окрестность и остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Пряничкове.

Он был не стар, около пятидесяти, на год-другой моложе ее, роста был невысокого, но широкоплеч, волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски, выбрит был всегда чисто, рубашки из-под синего халата смотрели свежие. Идя как-то за ним по коридору, она изучала исходящий от него сложный и терпкий запах, связанный с его ремеслом: скипидар, лак, канифоль и еще что-то неизвестное, и запах показался ей даже привлекательным. Было в нем и какое-то особое достоинство, он не вписывался в обычную театральную иерархию. Ему бы занимать скромное место между машинистом сцены и гримером, а он шел по театральным коридорам, кивком отвечая на приветствия, как заслуженный, и закрывая плотно дверь в свою мастерскую, как народный.

Однажды в конце рабочего дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже пришли, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Поздоровались. Оказалось, что он не знал ее по имени, хотя она к этому времени уже три года проработала в театре. Она рассказала ему об ореховой горке, которая осталась после покойной свекрови, бросила беглый взгляд на стены мастерской, где на полках стояли бутыли с темными и рыжими жидкостями и симметрично были развешаны и разложены инструменты. Иван Исаевич держал бурую, с темной обводкой вокруг ногтей руку на светлой столешнице разъятого столика, гладил грубым пальцем темный выщербленный цветок, и когда Александра Георгиевна кончила свой рассказ о горке, он сказал не глядя ей в глаза:

— Вот маркетрию Илье Ивановичу закончу, тогда можно и посмотреть…

Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в двух с половиной комнатах с двумя дочерьми, Верой и Никой, через неделю. Предложенная ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, жившего достойно, чисто, но все же по-бобыльски, без хорошей домашней еды. Ему понравилось то бережное движение, которым она вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которую он был завернут. Еще более глубокое впечатление произвел на него короткий, брошенный ею взгляд на небольшую иконку Корсунской Божьей Матери, которую он и не сразу заметил, поскольку висела она не в углу, как положено, а потаенно, на торце буфета, да тихий ее вздох «О Господи», перенятый от Медеи еще в детстве.

Он был из староверов, но еще в юности ушел из семьи, отказался от веры, однако, отплыв от родного берега, к другому так и не прибился и всю жизнь прожил сам с собой в ссоре, то ужасаясь совершенному бегству из родительского мира, то страдая от невозможности слиться с тысячами энергичных и оголтелых сверстников. Его тронул этот короткий молитвенный вздох, но только много лет спустя, будучи ее мужем, он понял, что все дело было в удивительной простоте, с которой она разрешила проблему, мучившую его всю жизнь. У него понятие о правильном Боге и неправильной жизни никак не соединялось воедино, а у Сандрочки все в прекрасной простоте соединялось: и губы она красила, и наряжалась, и веселилась от души, но в свой час вздыхала и молилась, щедро вдруг кому-то помогала, плакала…

Иван Исаевич ходил на свидания к ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского и Александра Георгиевна оставалась дома. В первый вечер она сидела за столиком, писала письма, во второй — шила дочери юбку, потом перебирала крупу и мягко мурлыкала какую-то привязчивую опереточную мелодию. Предлагала Ивану Исаевичу то чай, то ужин.

«Этот мебельщик», как она его про себя окрестила, нравился ей все больше серьезной сдержанностью, лаконизмом слов и движений и всем своим поведением, которое хоть и было «малость деревянным», как она охарактеризовала его своей задушевной подруге Кире, зато «вполне мужским». Во всяком случае, она его явно предпочла бы своему основному претенденту, недавнему вдовцу, старому актеру с зычным голосом, болтливому, тщеславному и обидчивому, как гимназистка. Актер зазвал ее недавно в гости в большую красивую квартиру сталинского покроя рядом с Моссоветом, а на следующий день она долго по всем пунктам высмеивала его перед Кирой: как он заставил весь стол банкетной старинной посудой, но в огромной хрустальной сырнице лежал один сухой лепесток сыра, а в полуметровой вазе «ассорти» — такой же засушенный кусочек колбаски, как он громовым голосом, заполнявшим всю огромную, с четырехметровыми потолками комнату, сначала говорил о своей любви к покойной жене, а потом так же зычно начал зазывать ее в спальню, где обещал показать ей, на что он способен, и наконец, когда Александра уже собралась домой, он достал шкатулку с женинами драгоценностями и не раскрывая объявил, что все достанется той женщине, которую он теперь выберет в жены.

— Ну так что же, Сандрочка, ты отговорилась или все же зашла в спальню?— любопытствовала подруга, которой важно было знать всю Сандрочкину жизнь, до самой последней точки.

— Да ну тебя, Кира,— хохотала Сандра.— Видно же, что он давным-давно штаны только в уборной расстегивает! Я губки надула и говорю ему: «Ах, какая жалость, что не могу я пойти в вашу спальню, потому что у меня сегодня мен-стру-а-ция…» Он чуть на пол не сел. Нет-нет, ему кухарка нужна, а мне мужик в дом. Не пойдет…

Положение вещей представлялось ей так, что краснодеревщик у нее в кармане, но сама она колебалась: он, конечно, похож на мужика, и положительный, но все же вахлак… Тем временем он притащил откуда-то детскую кровать ладейкой.

— Для господских деток работали, Нике в самый раз будет,— и подарил.

Александра вздохнула: устала от безмужья. К тому же год назад патронесса облагодетельствовала ее дачным участком в поселке Малого театра, но дом ей в одиночку было не поднять. Все шло к одному, в пользу медлительного Ивана Исаевича, в котором тоже подспудно происходили неосознанные шевеления, приводящие одинокого мужчину к семейной жизни. Пока длилась мебельная прелюдия к их браку, он все более убеждался в исключительных достоинствах Александры Георгиевны. «Порядочный человек, не вертихвостка какая-нибудь»,— думал он с неодобрением в адрес той Валентины, с которой прожил несколько хороших лет, а потом она его обманула с подвернувшимся земляком-капитаном. Верно было то, что толстопятой его Валентине действительно до Сандрочки было далеко.

Александра понимала, что взаимное присматривание затягивается, но в эту пору у нее не прошло еще ложное чувство, что она стоит во всех отношениях настолько его выше, что он за счастье должен считать ее выбор, и она медлила. Большое и неизгладимое несчастье, происшедшее в то лето, сблизило их и соединило…

Таня, жена ее сына Сергея, была генеральской дочерью, но это было не избитой характеристикой, а всего лишь знаком материального благополучия. От отца она унаследовала честолюбие, а от матери — красивый профиль. В приданое она получила, генеральскими хлопотами, новую однокомнатную квартиру в Черемушках и старую «Победу». Сергей, человек щепетильный и независимый, к машине не прикасался, даже прав не имел. Водила Татьяна.

Это последнее предшкольное лето их дочка Маша проводила на даче у генеральши-бабушки, Веры Ивановны, характер у которой был вздорный, истерический, что всем было прекрасно известно. Время от времени внучка ссорилась с бабушкой и звонила в Москву родителям, чтобы ее забрали. На этот раз Маша позвонила поздним вечером из дедова кабинета, не плакала, но горько жаловалась:

— Мне скучно, она меня никуда не пускает, и ко мне девочек не пускает, говорит, что они украдут. А они не украдут, честное слово, не украдут…

Таня обещала забрать ее через несколько дней. Это сильно нарушало семейные планы. Они собирались всей семьей, взяв Нику, ехать через две недели в Крым, к Медее: и отпуск был в графике, и с Медеей уговорено; словом, на более раннее время поездку передвинуть было невозможно.

— Может, Сандрочка у себя Машку подержит недельку?— осторожно закинула удочку Таня.

Но Сергей не очень хотел забирать дочку от генералов, как называл он женину родню, жалел мать, у которой дом только-только отстроился, не говоря уж о том, что генеральская дача была огромная, с прислугой, а у Сандры — две комнаты с верандой.

— Машку жалко,— вздохнула Таня, и Сергей сдался.

Они взяли в середине недели отгул и рано утром выехали. До дачи они не доехали: пьяный водитель грузовика, выскочив на встречную полосу, врезался в их машину, и оба они мгновенно погибли от лобового столкновения.

Под вечер того дня, когда Ника уже истомилась ждать свою любимую подружку-племянницу, и кукол уже выстроила для нее в ряд, и взбила сама малиновый мусс, приехала генеральская «Волга», низенький генерал вышел из нее и неуверенной походкой пошел к дому. Увидев его через прозрачную занавеску, Александра вышла на крыльцо и остановилась на верхней ступени, ожидая известия, которое уже донеслось до нее бессловесной ужасной тяжестью по густеющему вечернему воздуху.

— Господи, Господи, подожди, я не могу… я не готова…

И генерал замедлил свое движение на дорожке, замедлилось время и вовсе остановилось. Только качели с сидящей на них Никой не остановились окончательно, а медленно-медленно совершали свое скользящее движение вниз от самой верхней точки.

И Александра увидела в этом остановившемся времени большой кусок своей и Сережиной жизни, и даже своего первого мужа, Алексея Кирилловича, в то лето на Карадагской станции, и новорожденного Сережу в Медеиных руках, и их общий отъезд в Москву в дорогом старинном вагоне, и Сережины первые шаги на тимирязевской даче… и его в курточке, стриженного наголо, когда он пошел в школу, и множество, множество как будто забытых фотографий увидела Александра, пока генерал стоял на дорожке, с поднятой в шагу ногой. Она досмотрела все до конца — до позавчерашнего прихода сына в Успенский, когда он попросил подержать у нее на даче Машу до их отъезда в Крым, и его неловкую улыбку, и как поцеловал он ее в подобранные валиком волосы:

— Спасибо, мамочка, сколько ты для нас делаешь…

А она махнула рукой:

— Глупости какие, Сережа. Какое здесь одолжение, мы Машку твою все обожаем…

Генерал Петр Степанович дошел наконец до нее, остановился и сказал медленным разбухшим голосом:

— Дети наши… того… разбились насмерть…

— С Машей?— только и нашла сказать Александра.

— Нет, Маша на даче… Они по дороге… забирать ее хотели,— просопел генерал.

— В дом пошли,— велела ему Александра, и он послушался, двинулся наверх.

С генеральшей Верой Ивановной было совсем плохо: три дня она кричала сорванным голосом хрипло и дико, засыпала только под уколами, но бедную Машу от себя ни на шаг не отпускала. Распухшая и отекшая Вера Ивановна привела Машу на похороны, девочка сразу же кинулась к Александре и простояла, прижавшись к ней, всю длиннейшую гражданскую панихиду. Вера Ивановна билась об закрытый гроб и в конце концов начала выкрикивать обрывчатые слова вологодского плача, который вырвался из глубины ее простонародной, испорченной генеральством души.

Окаменевшая Александра держала твердую руку на черной Машиной голове, две старшие дочери стояли справа и слева, а позади, взявши Нику за руку, оберегал их семейное горе Иван Исаевич.

Поминки устраивали в генеральской квартире на Котельнической набережной. Все, включая посуду, привезли из какого-то специального места, где кормились высокие лица. Петр Степанович напился горько и крепко. Вера Ивановна все требовала к себе Машеньку, а девочка цеплялась за Александру. Так они и просидели весь вечер втроем, теща да свекровь, соединенные общей внучкой.

— Сандрочка, забери меня к себе, Сандрочка,— шептала девочка в ухо Александре, а Александра, обещавшая генералу не отбирать у них единственное дитя, утешала ее, говорила, что заберет непременно, как только бабушке Вере станет получше.

— Нельзя же ее бросать сейчас одну, сама понимаешь,— уговаривала она Машу, сама только о том и мечтая, чтобы забрать ее в две с половиной комнаты Успенского переулка.

Именно в этот вечер на побледневшем лице Маши Александра заметила россыпь рыжих веснушек, фамильных веснушек Синопли, маленьких знаков живого присутствия давно умершей Матильды.

— Надо бы Машу оттуда забрать. Я бы помог,— как всегда в неопределенной грамматической форме, чтобы избежать интимного «ты» и официального «вы», не называя ни Александрой Георгиевной, ни Сандрочкой, пробормотал Иван Исаевич поздним вечером того дня, проводив ее до дому от Котельнической набережной.

— Надо-то надо, да как заберешь?— так же неопределенно ответила Сандра.

Медея на похороны не приехала: Анели, тбилисской покойной сестры, приемная дочь Нина лежала в больнице с тяжелой операцией, и Медея на лето забрала ее малолеток. Не с кем было их оставить…

К концу августа Иван Исаевич закончил забор, положил на окна решетки и сделал хитрый замок.

— Хороший вор сюда не полезет, а от шпаны защита,— объяснил он Александре.

Все это черное время, от самого дня похорон, он не отходил от нее, и здесь, на этом печальном месте, и начался их брак. Их отношения как будто навсегда остались освещены этим трагическим событием, да и сама Александра, казалось, уже не способна была радостно праздновать свою жизнь, что делала от самой ранней юности, невзирая ни на какие обстоятельства войны, мира или вселенского потопа.

Ни о чем таком Иван Исаевич не догадывался. Он был другой человек, не было в его словаре таких слов, в алфавите таких букв, а в памяти таких снов, какие знала Александра. Свою жену он воспринимал как существо высшее, совершенное и готов был украсить ее горькую жизнь всеми доступными его воображению средствами: приносил в дом из Елисеевского магазина лучшее, что там видел, дарил ей подарки, порой самые нелепые, стерег ее утренний сон… В интимных отношениях с женой более всего он ценил их факт и в глубине простой души полагал попервоначалу, что благородной его жене от его притязаний одна докука, и немало времени прошло, прежде чем Сандрочке удалось его кое-как приспособить для извлечения небольших и незвонких радостей. Верность Ивана Исаевича оказалась гораздо большей, чем обыкновенно вмещается в это понятие. Он служил своей жене всеми своими мыслями, всеми чувствами, и Сандрочка, изумленная таким нежданным, под занавес ее женской биографии, даром, благодарно принимала его любовь…

Генерал Гладышев за свою жизнь построил столько военных и полувоенных объектов, столько орденов получил на свою широкую и короткую грудь, что властей почти и не боялся. Не в том, разумеется, смысле, в котором не боится властей философ или артист в каком-нибудь расслабленно-буржуазном государстве, а в том смысле, что пережил Сталина не покачнувшись, ладил с Хрущевым, с военных лет ему знакомым, и уверен был, что с любыми властями найдет язык. Боялся он только своей супруги Веры Ивановны. Одна только Вера Ивановна, верная жена и боевая подруга, нарушала его покой и портила нервы. Мужний высокий чин и большую должность она считала как бы себе принадлежащими и умела стребовать все положенное ей, по ее разумению. При случае не стеснялась и скандал учинить. Этих скандалов и боялся Петр Степанович больше всего. Голос у супруги был прегромкий, акустика в высоких комнатах прекрасная, а звукоизоляция недостаточная. И когда она начинала кричать, он быстро сдавался:

— От соседей стыдно, совсем ты обезумела.

После голодного вологодского детства и бедной юности осталась Вера Ивановна раз и навсегда шарахнутой трофейной Германией, которую завез в конце сорок пятого года Петр Степанович, человек не алчный, но и не растяпистый, в количестве одного товарного вагона, и с тех пор Вера Ивановна все не могла остановиться, прикупала и прикупала добро.

Ругая жену безумной и сумасшедшей, в прямом смысле слова он ее таковой не считал. Поэтому в ту ночь, через несколько месяцев после гибели дочери, когда он был разбужен бормотанием жены, стоявшей в поросячьего цвета ночной рубашке перед раскрытым ящиком дамского письменного стола, помнится, из Потсдама, ему и в голову не пришло, что пора ее сдавать в сумасшедший дом.

— Она думает, она теперь все от меня получит… получит она… маленькая убийца.— Вера Ивановна заматывала в махровое полотенце китайский веер и какие-то флакончики.

— Что ты там среди ночи делаешь, мать?— приподнялся на локте Петр Степанович.

— Да спрятать надо, Петя, спрятать. Думает, так это пройдет.— Зрачки ее были так расширены, что почти сошлись с черными ободками радужки, и глаза казались не серыми, а черными.

Генерал так обозлился, что дурное предчувствие, шевельнувшееся было в душе, растаяло мгновенно. Он засадил в нее, как сапогом, длинной матерной фразой, взял подушку и одеяло и пошел досыпать в кабинет, волоча за собой длинные тесемки солдатских подштанников.

Безумие — и это знают все, кто близко его наблюдал,— тем более заразительно, чем тоньше организация человека, находящегося рядом с безумцем. Генерал его просто не замечал. Матрена, дальняя родственница Веры Ивановны, смолоду жившая в их доме «за харчи», замечала кое-какие странности в поведении хозяйки, но не обращала на них особого внимания, ибо и сама, дважды переживши знаменитый российский голод, с тех пор была немного стронута на этом месте. Она жила, чтобы есть. Никто в семье не видел, как и когда она это делала, хотя и знали, что ела она по ночам. Пировала она в своей узкой комнатке без окна, назначенной под кладовую, за железным крючком. Сначала она съедала собранную за день недоеденную семейством еду, потом то, что считала себе положенным, и, наконец, самое сладкое — ворованное, то, что вынимала из кремлевских продовольственных заказов собственноручно, тайком: довесок осетрины, кусок сухой колбасы, конфеты, если приходили они в бумажных пакетах, а не запечатанными в коробках. В свое жилище, запретное для всех домочадцев, она и кошки не пускала, и даже генерал, нечувствительный к мистической материи, ощущал здесь какую-то неприятную тайну. Туда несла она в мешочки пересыпанную крупу, муку, консервы. За день до ежегодной поездки к сестре в деревню, не попадаясь хозяйке на глаза, с двумя большими сумками она выскальзывала за дверь, ехала на Ярославский вокзал и сдавала сумки в камеру хранения. Все эти продукты она везла сестре в подарок, но из года в год повторялась одна и та же история: она ставила в первый же вечер на стол покрытую машинным маслом банку тушенки, собираясь отдать остальное погодя, но больная ее душа не позволяла совершить этот отчаянный поступок, и по-прежнему она ела свои припасы по ночам, в темноте и одиночестве, а сестра, наблюдавшая с полатей ее ночные трапезы, сильно ее жалела за жадность, но не обижалась. Хотя она была и старше Матрены, но жила огородом, держала корову и к еде была нежадной.

Не удивительно, что, занятая постоянно своим пищевым промыслом, Матрена не заметила ни приступов столбняка, нападающих на Веру Ивановну, ни неожиданного возбуждения, когда она начинала ходить из комнаты в комнату, как зверь в клетке, а если что и замечала, то объясняла обычным образом: «Верка — чистая сатана».

Петр Степанович тоже ничего не замечал, поскольку многие годы избегал общения с женой, вставал рано, дома не завтракал, секретарша сразу, как он добирался до своего огромного кабинета, несла ему чай. Домой он возвращался поздно, в прежние времена и за полночь, высиживал в своем управлении по шестнадцать часов кряду, а более всего любил инспекционные поездки на объекты и часто уезжал из Москвы. С супругой по своей инициативе он и двух слов не говорил. Приходил, ужинал, зарывался скорей в ее шелковые пуховые одеяла и засыпал быстрым сном здорового человека.

Так и получилось, что вся чудовищная сила безумия Веры Ивановны обрушилась на Машу. В первый класс она пошла уже здесь, на Котельнической. Будила, провожала в школу и приводила ее Матрена, а начиная с обеда Маша проводила время с бабушкой. Машу сажали за стол. Напротив садилась бабушка Вера, не спускавшая с нее глаз. Нельзя сказать, чтобы она мучила Машу замечаниями. Она смотрела на нее серыми немигающими глазами и время от времени что-то неразборчиво шептала. Маша шарила серебряной ложкой в тарелке и не могла донести ее до рта. Суп под холодным взглядом Веры Ивановны быстро остывал, и Матрена, имевшая здесь свой интерес, быстро уносила его неизвестно куда, а перед Машей ставила большую тарелку со вторым, которое вскоре почти нетронутым отправлялось вслед за первым. Потом Маша съедала кусок белого хлеба с компотом, что, кстати, осталось на всю жизнь ее любимой едой, и бабушка говорила ей: пошли.

Она послушно садилась за пианино на три толстых тома какой-то энциклопедии и опускала пальцы на клавиши. В жизни своей она не знала холода пронзительней того, который шел по ее кистям через черно-белые зубья ненавистной клавиатуры. Вера Ивановна знала, что девочка ненавидит эти занятия. Она садилась сбоку от нее, глядела и все шептала, шептала что-то, и у Маши на глазах выступали слезы, сбегали по щекам и оставляли холодеющие мокрые следы.

По вечерам, после того как Матрена укладывала ее спать, начиналось самое ужасное: она не могла уснуть, вертелась в большой кровати и все ждала минуты, когда откроется дверь и к ней в комнату войдет бабушка Вера. Она приходила в поздний час, который Маша определить не умела, в вишневом халате, с длинной гладкой косой по спине. Садилась возле кровати, а Маша сжималась в комочек и зажмуривала глаза. Один такой вечер она запомнила особенно хорошо из-за иллюминации, которой украсили дом перед ноябрьскими праздниками; дом был полосатым, красно-желтым, и Вера Ивановна, сидя в полосе красного света, шептала протяжно и внятно:

— Убийца, убийца маленькая… Ты позвонила, ты позвонила, вот они и поехали… из-за тебя все… живи теперь, живи, радуйся…

Вера Ивановна уходила, и тогда Маша наконец могла заплакать. Она утыкалась в подушку и в слезах засыпала.

По воскресеньям приходила любимая Сандрочка, которую Маша всю неделю ждала. Машу отдавали до обеда, на несколько часов. Внизу около подъезда ожидал Иван Исаевич, дядя Ваня, иногда один, но чаще с Никой, и они шли гулять: то в Зоопарк, то в Планетарий, то в Уголок Дурова. Расставание всегда оказывалось для нее сильнее встреч, да и сама эта короткая встреча напоминала о счастье других людей, которые живут в Успенском переулке. Несколько раз Сандра приводила Машу к себе домой. Она понимала, что девочка тоскует, что ей плохо, но ей и в голову не могло прийти, что больше всего мучит Машу ужасное обвинение сумасшедшей старухи. А Маша ничего не говорила, потому что больше всего на свете боялась, что любимая ее Сандрочка и Ника узнают о том, что она совершила, и перестанут к ней приходить.

Поздней осенью Маше приснился в первый раз страшный сон. В этом сне ровным счетом ничего не происходило. Просто открывалась дверь в ее комнату и кто-то страшный должен был войти. Из коридора несло приближающимся ужасом, который все рос и рос,— Маша с криком просыпалась. Кто и зачем распахивал дверь, которая всегда оказывалась чуть-чуть смещенной от двери действительной?.. На крик обыкновенно прибегала Матрена. Она укрывала ее, гладила, крестила — и тогда, уже под утро, Маша засыпала крепким сном. Она и прежде плохо засыпала, ожидая прихода бабушки, а теперь и после ее ухода она не могла подолгу заснуть, боясь сна, который снился тем чаще, чем больше она его боялась. По утрам Матрена с трудом поднимала ее. Полусонная она сидела на уроках, полусонная приходила домой и отрабатывала перед Верой Ивановной музыкальную повинность, а потом засыпала коротким дневным сном, спасающим ее от нервного истощения…

Место над Яузой, где стоял их дом, издавна считалось нехорошим. Многие жильцы этого дома умирали насильственной смертью, а тесные окна и куцые балкончики притягивали самоубийц. Несколько раз в году к дому с воем подъезжала санитарная машина и подбирала распластанные человеческие останки, прикрытые сердобольной простыней. Столь любимая в России статистика давно установила, что число самоубийств повышается в зимние бессолнечные дни. Тот декабрь был необыкновенно мрачным, солнышко ни разу не пробило глухих облаков,— лучший сезон для последнего воздушного полета.

Обедали Гладышевы обыкновенно в столовой, ужинали на кухне. Вечером, когда Маша доедала жареную картошку, по-деревенски приготовленную Матреной в виде спекшейся лепешки, в кухню вошла Вера Ивановна. Матрена сообщила ей, что сегодня опять «сиганули»: с седьмого этажа выбросилась молодая девушка, дочь знаменитого авиаконструктора.

— От любви небось,— прокомментировала Матрена свое сообщение.

— Балуют, потому так и выходит. Гулять не надо пускать девчонок,— строго отозвалась Вера Ивановна. Она налила в стакан из чайника кипяченой воды и вышла.

— Моть, а что с ней стало?— спросила Маша, оторвавшись от картошки.

— Как — что? Убилась насмерть. Внизу-то камень, не соломка. Ох, грехи, грехи…— вздохнула она.

Маша поставила пустую тарелку в раковину и пошла к себе в комнату. Они жили на одиннадцатом. Балкона в ее комнате не было. Она подвинула стул и влезла на широкий подоконник. Между десятым и одиннадцатым этажами была зачаточная балюстрадка. Маша попробовала открыть окно, но шпингалеты, закрашенные масляной краской, не открывались.

Маша разделась, сложила свои вещи на стул. Зашла Матрена сказать «спокойной ночи». Маша улыбнулась, зевнула — и мгновенно заснула. Впервые за всю свою жизнь на Котельнической набережной она заснула легким, счастливым сном, впервые не услышала тихого проклятия, с которым зашла к ней в полночь Вера Ивановна, и дверь ужасного сновидения не отворилась в ту ночь.

Что-то изменилось в Маше с того дня, когда она узнала о той девушке, которая «сиганула». Оказывается, существовала возможность, о которой она прежде не знала, и от этого ей сделалось легче.

Назавтра позвонила Сандра и спросила, не хочет ли она поехать с Никой в зимний пионерский лагерь ВТО. С Никой Маша готова была ехать куда угодно. Ника была единственная девочка, которая осталась от прежней жизни, все остальные ее подружки по Юго-Западу, где она жила раньше, исчезли бесследно, как будто тоже погибли вместе с ее родителями.

Несколько оставшихся до Нового года дней Маша жила в счастливом ожидании. Матрена собрала ее чемодан, надела на него парусиновый чехол и пришила к нему белый квадрат, на котором написали ее имя. Генеральский шофер привез с Юго-Запада ее лыжи. Палок не нашел, купил в «Детском мире» новые, красные, и Маша гладила их и принюхивалась: пахли они вкусней любой еды.

Тридцать первого утром ее должны были отвезти на Пушкинскую, где назначена была встреча с Никой. Туда же подавали автобусы. Ей казалось, что там будут и все ее подружки со старого двора: Надя, Оля, Алена.

Тридцатого вечером у нее поднялась температура под сорок. Вера Ивановна вызвала врача и позвонила Александре Георгиевне, чтобы известить. Поездка, таким образом, отменилась.

Два дня лежала Маша в сильном жару, время от времени открывая глаза и спрашивая: который час? уже пора… мы не опоздаем?

— Завтра, завтра,— все говорила ей Матрена, которая почти от нее не отходила. В каких-то просветах Маша видела Матрену, Сандрочку, Веру Ивановну и даже деда Петра Степановича.

— Когда же я поеду в лагерь?— ясным голосом спросила Маша, когда болезнь ее отпустила.

— Да каникулы-то кончились, Машенька, какой теперь лагерь?— объяснила ей Матрена.

Горе было велико.

Вечером приехала Сандрочка, долго утешала ее, обещала, что на лето заберет ее к себе в Загорянку.

А ночью ей снова приснился тот сон: открылась дверь из коридора и кто-то ужасный медленно приближался к ней. Она хотела крикнуть — не могла. Она рванулась, спрыгнула с постели, в странном состоянии между сном и явью придвинула стул к подоконнику, влезла на него и дернула шпингалет с невесть откуда взявшейся силой. Первая рама открылась. Вторая распахнулась совсем легко, и она соскользнула с подоконника вниз, даже не успев почувствовать ледяного прикосновения жестяного фартука.

Подол ее рубашки зацепился за его острый край, чуть-чуть придержал ее, и она мягко выпала на заваленную снегом балюстраду десятого этажа.

Через час Матрена закончила свою трапезу и вышла из чулана. На нее дохнуло холодом. Морозным воздухом несло из открытой двери Машиной комнаты. Она вошла, увидела распахнутое окно, ахнула, кинулась его закрывать. На подоконнике намело маленькую неровную горку снега. Только закрывши окно она увидела, что Маши в постели нет. У нее подкосились ноги. Она села на пол. Заглянула под кровать. Подошла к окну. Шел густой снег. Ничего не было видно, кроме мирных медлительных хлопьев.

Матрена сунула голые ноги в валенки, накинула платок и старое хозяйкино пальто, побежала к лифту. Спустилась, пробежала через большой, покрытый красным ковром вестибюль, шмыгнула через тяжеленную дверь и обогнула угол дома. Снег лежал ровный, рыхлый, празднично блестел.

«Может, замело уже»,— подумала она и прошла, разметывая валенками толстый снег под окнами их квартиры. Девочки не было. Тогда она поднялась и разбудила хозяев…

Машу сняли с балюстрады через полтора часа. Она была без сознания, но и без единой царапины. Петр Степанович проводил до машины укрытую одеялами девочку, вернулся в квартиру. Вера Ивановна просидела все эти полтора часа на краю своей кровати, не сдвинувшись с места и не проронив ни слова. Когда Машу увезли, он увел Веру Ивановну к себе в кабинет, посадил в холодное деревянное кресло и, крепко взяв за плечи, встряхнул:

— Говори.

Вера Ивановна улыбнулась неуместной улыбочкой:

— Это она все подстроила… Танечку мою убила…

— Что?— переспросил Петр Степанович, догадавшись наконец, что жена его сошла с ума.

— Маленькая убийца… все подстроила… она…

Следующая машина увезла Вера Ивановну. Генерал не стал ждать до утра — вызвал немедленно. В эту ночь ему пришлось еще раз спускаться вниз, к санитарной машине. Поднимаясь наверх в лифте, он поклялся, что ни одного дня больше не проживет с женой под одной крышей. Утром он позвонил Александре, сообщил о случившемся очень сухо и коротко и попросил забрать Машу из больницы к себе, как только ее выпишут. Через день генерал уехал в инспекционную поездку на Дальний Восток.

Свою бабушку Веру Ивановну Маша видела с тех пор только один раз — на похоронах. Петр Степанович сдержал свое слово: Вера Ивановна прожила оставшиеся ей восемь лет в привилегированной лечебнице, вдали от драгоценной мебели, фарфора и хрусталя. В сухой старушке с редкими серыми волосами Маша не узнала красивой пышноволосой бабушки Веры Ивановны в вишневом халате, которая приходила к ней, семилетней, шептать вечерние проклятья…

Через неделю после счастливо закончившегося несчастья неказистый, провинциального вида еврей, доктор Фридман, затолкнул Александру Георгиевну в подлестничный чулан, заваленный старыми кроватями, тюками с бельем и коробками, усадил ее на шаткий табурет, а сам устроился на трехногом стуле. Старая трикотажная рубашка с растянутым воротом и кривой узел галстука были видны в распахе халата. Даже лысина его выглядела неопрятной — в неравномерных кустиках и клочках, как неперелинявший мех. Он сложил перед собой специально-врачебные, профессиональные руки и начал:

— Александра Георгиевна, если не ошибаюсь… Здесь совершенно невозможно поговорить, единственное место, где не мешают… Разговор у меня серьезный. Я хочу, чтобы вы поняли, что психическое здоровье ребенка целиком в ваших руках. Девочка пережила травму такой глубины, что трудно предвидеть ее отдаленные последствия. Я совершенно уверен, что многие мои коллеги настаивали бы на переводе ее в стационар и на серьезном медикаментозном лечении. Возможно, это и понадобится: неизвестно, как будет развиваться ситуация. Но, я думаю, есть шанс эту историю похоронить…— Он смутился, почувствовав, что говорит не то.— Я имею в виду, что у психики ребенка есть огромные защитные механизмы, и, может быть, они сработают. К счастью, Маша не отдает себе полного отчета о происшедшем. Идея самоубийства в ее сознании не сформировалась, и сам факт суицидной попытки ею не осознан. Происшедшее с ней может быть скорее рассмотрено, знаете, как если бы человек отдернул руку, схватившись за горячее. Я с Машей много беседовал. Она неохотно идет на контакт, но если контакт имеется, она говорит искренне, чистосердечно, и, знаете,— он смял свою полунаучную речь, улыбнулся, открыв квадратные детские зубы,— она очаровательное существо, умненькая, ясная, с каким-то очень хорошим нравственным строем… чудесный ребенок.— Лицо его просветлело, и он сделался даже симпатичным.

«На кого-то знакомого похож»,— мелькнуло у Сандры.

— Одних людей страдание калечит, а других, знаете, как-то возвышает. Ей сейчас нужна теплица, инкубатор. Я бы забрал ее в этом году из школы, чтобы, знаете, исключить все случайности… плохой педагог, грубые дети… лучше продержать ее дома до будущего года. И очень, очень щадящая обстановка.— Он встрепенулся: — И никаких контактов с той ее бабушкой, исключить. Она внушила ей комплекс вины за смерть родителей, а это и взрослый человек не каждый вынесет. Все это может вытесниться, может вытесниться. Старайтесь не вспоминать об этом последнем периоде, и даже о родителях ее не надо ей напоминать. Вот телефон мой, звоните,— он вынул заранее заготовленный листочек,— Машу я не оставлю, буду наблюдать, пожалуйста, пожалуйста…

Александра не ожидала, что Машу отдадут так быстро. Машины вещи, второй раз за полгода перевезенные генеральским шофером на новую квартиру, стояли еще неразобранные, вместе с непригодившимся чемоданом и лыжами. Александра сразу же после разговора с врачом поехала домой за Машиными вещами и в тот же день забрала ее в Успенский…

Была половина января, елка еще была не разобрана, стол раздвинут по-праздничному. Пришла и гостья — старшая дочь Александры, беременная Лидия. Еда была простая, непраздничная: винегрет, макароны с котлетами да подгоревшее Никино печенье, которое она в спешке пекла перед самым Машиным приездом. Зато с рекомендованной доктором любовью все обстояло как нельзя лучше: сердце Александры просто разрывалось от молитвенной благодарности, что Маша чудом спаслась, что она здорова и у нее в доме. Ни один из ее собственных детей не казался ей в эти минуты столь горячо любимым, как эта хрупкая сероглазая, совсем не их породы девочка. Ника тискала ее, обнимала, забавляла всеми известными ей способами. Маша немного посидела за столом, а потом пересела в детское плетеное креслице, которое за несколько дней до ее приезда принес откуда-то Иван Исаевич и два дня чинил поломанную ручку и прилаживал на сиденье кусок красного сукна с бахромой.

Расслабленная от беременности Лидия вскоре ушла.

Хотя вся семья ждала Машиного приезда, он все-таки оказался неожиданным, и потому спального места ей не приготовили. Ника отправилась спать к матери, а Машу уложили в Никину маленькую ладью, из которой она за лето почти выросла. Глаза у Маши слипались, но, когда ее уложили, сон ушел. Она лежала с открытыми глазами и думала, как в будущем году поедет с Никой в зимний лагерь.

Убрав и вымыв посуду, Александра подошла к девочке, села рядом.

— Дай руку,— попросила Маша.

Александра взяла Машу за руку, и девочка быстро уснула. Но когда Александра попыталась осторожно высвободить свою руку, Маша открыла глаза:

— Дай руку…

Так до утра и просидела Александра возле спящей внучки. Иван Исаевич пытался заменить ее на этом молчаливом посту, но она только качала головой и жестом отсылала его спать. Это была первая ночь в череде многих. Без ночного поводыря — бабушкиной или Никиной руки — Маша не могла заснуть, а заснув, иногда просыпалась с криком, и тогда Сандра или Ника брали ее к себе, успокаивали. Как будто их было две: Маша дневная, спокойная, ласковая, приветливая, и Маша ночная — испуганная и затравленная.

Возле Машиной кровати поставили раскладушку. Обычно на ней укладывалась Ника, она лучше матери умела сторожить хрупкий Машин сон, а потревоженная, мгновенно засыпала снова. Ника вообще была лучшей помощницей матери, чем Вера, которая училась в институте, обожала до страсти всяческое учение и кроме институтских занятий ходила на курсы то немецкого языка, то какой-то туманной эстетики.

Нике шел тринадцатый год, она набрала уже хороший женский рост и множество разных женских умений, стайка мелких прыщиков в середине лба свидетельствовала о том, что близится время, когда ее женские дарования будут востребованы.

Маша переехала в Успенский как раз в то время, когда Ника охладела к обычной девчачьей забаве — к игре в куклы, и живая Маша разом заменила ей всех ее Кать и Ляль, на которых она так долго упражняла смутные материнские инстинкты. Все куклы, с ворохом платьев и пальто, которые не ленилась им шить проворная Александра, перешли к Маше, и Ника почувствовала себя главой большой семьи с дочкой Машей и кучей игрушечных внучек.

Много лет спустя, уже родив Катю, Ника признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу, потому что никогда не испытывала к своим детям такой трепетной любви, такого полного принятия в сердце другого человека, как это было в первые годы жизни Маши в их доме. Особенно этот первый год, который она жила состраданием к бедной Маше, держала ее ночами за руку, плела по утрам косички, а после школы водила гулять на Страстной бульвар. В Машиной жизни Ника занимала огромное и трудноопределимое место: была любимой подругой, старшей сестрой, во всем лучшей, во всем идеальной…

В следующем году, когда ее снова отдали в школу, Иван Исаевич забирал ее после занятий и либо приводил домой, либо отводил к себе в театр. Александра, вскоре после Машиного переезда похоронившая свою знаменитую патронессу, ушла из театра. Теперь она заведовала маленьким закрытым ателье для правительственных дам. Место было блатное, но у Александры от прежних лет остались какие-то высокие покровители.

Крепдешиновые обрезки от их обширных платьев шли на кукольные наряды, но обе они, и Ника и Маша, сохранили на всю жизнь отвращение к розовому, голубому, оборчатому и плиссерованному. Обе они, чуть повзрослев, стали носить джинсы и мужские рубашки.

Невзирая на столь неженственный, как полагала Сандрочка, облик, к шестнадцати годам Ника стала пользоваться ошеломляющим успехом. Телефон звонил день и ночь, и Иван Исаевич смотрел на Сандрочку с ожиданием, когда же она прекратит бурную жизнь дочери. Но Александра и сама, казалось, получала удовольствие от Никиных успехов. В конце девятого класса она завела увлекательный роман с молодежным поэтом, входящим в бурную моду, и, не закончив последней четверти, укатила с ним в Коктебель, сообщив об этом телеграммой «пост фактум», уже из Симферополя. Маша с двенадцатого года стала Никиным доверенным лицом и принимала с тайным ужасом и восхищением ее исповеди. Обеими руками Ника гребла к себе удовольствия, большие и малые, а горькие ягодки и мелкие камешки легко сплевывала, не придавая им большого значения. Сплюнула, между прочим, и школьное обучение. Сандра не ворчала, не устраивала бессмысленных выяснений и, помня себя молодой, быстро устроила Нику в театрально-художественное училище, где были у нее от театральных времен хорошие знакомые. Ника немного позанималась рисунком, сдала экзамены на необходимые четверки и с наслаждением выбросила школьную форму. Еще через год она была уже более или менее замужем.

Маша осталась последним ребенком у престарелых приемных родителей, вокруг нее закручивалась теперь вся жизнь семьи. Ночные страхи ее кончились, но от раннего прикосновения к темной бездне безумия в ней остался тонкий слух к мистике, чуткость к миру и художественное воображение — все то, что создает поэтические склонности. В четырнадцать лет она увлекалась Пастернаком, обожала Ахматову и писала тайные стихи в тайную тетрадь.

К вечеру над горами в том месте, которое называли Гнилой Угол, нависли облака, а в доме нависла атмосфера молчаливого ожидания. Ника ждала, что зайдет Бутонов. По ее понятиям, после их ночного свидания следующий ход был за ним. Тем более, что не могла вспомнить, сказала ли ему, что собирается уезжать… Ждала и Маша, и ее ожидание было тем напряженнее, что она и сама не знала, кого она ждет больше — мужа Алика, который должен был, собрав отгулы, приехать на несколько дней, или Бутонова. Ей все мерещилось, как Бутонов сбегает с горы, перепрыгивая через колючие кусты и подскакивая на осыпях. Может, наваждение бы и развеялось, если бы она посидела с ним на кухне, поговорила…

«Он неумен»,— вспоминала она слова Ники, обращаясь к спасительной и ничтожной логике, как будто неумный человек не мог быть источником любовного наваждения.

Всех острей тосковала и мучилась ожиданием Лизочка. Наутро, после дня мелких ссор и недовольств Таней, оказалось, что без нее Лизочка уже и жить не может. Она ждала ее весь день, канючила, а к вечеру, устав от ожидания, устроила истерику с заламыванием рук. Ника никогда не придавала большого значения Лизочкиным чрезмерным требованиям, но улыбнулась: «У нее роман… Мой характер: если я чего хочу, подайте немедленно».

Но в данную минуту желания матери и дочери частично совпадали: обе ждали продолжения романа.

— Ну, перестань… Одевайся, сходим к твоей Тане,— утешила Ника дочку, и та побежала надевать нарядное платье.

С расстегнутыми на спине пуговицами, с полной охапкой игрушек она вернулась к Нике на кухню — спросить, какую игрушку можно подарить Тане.

— Какую тебе не жалко,— улыбнулась Ника.

Медея, глядя на заплаканную внучку, отметила про себя: «Пылкая кровь. Но до чего же очаровательна…»

— Лиза, подойди, я тебе пуговицы застегну,— велела Медея, и девочка послушно подошла к ней, повернулась спиной. Мелкие пуговицы с трудом продевались в еще более мелкие петли. От бледных волос пахло младенческой сладостью.

Через пятнадцать минут они были уже у Норы, сидели в ее маленьком домике, уставленном букетами глициний и тамариска. Крошечный летний домик был по-украински уютен, выбелен начисто, земляной пол устлан половиками.

Лиза спрятала принесенного зайца под юбку и добивалась от Тани интереса, но Таня послушно ела кашу, опустив глаза. Нора, по обыкновению, мягко и неопределенно жаловалась, что вчера очень устали, что припеклись, что очень уж далекая оказалась прогулка… Подробно и не без занудства. Ника сидела у окна и все поглядывала в сторону хозяйского жилья.

— Вон и Валерий тоже весь день не выходил,— кивнула Нора в сторону хозяев,— телевизор смотрит.

Ника встала легко и у дверей, обернувшись, сказала:

— Я к тете Аде на минутку…

Телевизор был включен на полную мощность. Стол заставлен большой едой. Михаил, хозяин, не любил мелких кусков, да и кастрюли у Ады, при всей ее невеликой семье, были чуть не ведерные. Работала она на кухне в санатории, и масштаб у нее был общепитовский, что хорошо сказывалось на рационе двух хрюшек, которых они держали. Валерий и Михаил сидели слегка одуревшие от грузной еды, а сама Ада пошла как раз «на погреб», как они говорили, за компотом. Она вошла в комнату следом за Никой, с двумя трехлитровыми банками. Ада с Никой расцеловались.

— Слива,— догадалась Ника.

— Ника, да ты садись. Миш, налей чего,— приказала Ада мужу. Бутонов уперся в телевизор.

— Да я так, только поздороваться, Лизка моя в гостях у ваших постояльцев,— отговорилась Ника.

— Сама-то к нам не зайдешь, только к жильцам ходишь,— укорила ее Ада.

— Ну прям, я заходила несколько раз, а ты то на работе, то по гостям ходишь,— оправдалась Ника.

Ада наморщила лобик, потерла нос, потерявшийся на толстом лице:

— Точно, в Каменку ездила, к куме.

А Михаил уже налил стопку чачи — он все умел по-хорошему делать, это Валерий знал от своего соседа Витьки: чачу гнать, мясо коптить, рыбу солить. Где бы Михаил ни жил — в Мурманске, на Кавказе, в Казахстане,— больше всего он интересовался, как народ питается, и все лучшее примечал.

— Со свиданьицем!— возгласила Ника.— За ваше здоровье!

Она протянула стопку и Бутонову, который наконец оторвался от телевизора. Она смотрела на него таким взглядом, который Бутонову не понравился. Да и сама Ника ему сейчас тоже не понравилась: голова ее была плотно обвязана зеленым шелковым платком, веселых волос не было видно, лицо казалось слишком длинным, лошадиным и платье было цвета йода, в разводьях. Бутонову было невдомек, что Ника надела те самые вещи, которые шли ей больше всего, в которых она позировала знаменитому художнику,— он-то и велел ей потуже затянуть платок и долго, чуть не со слезами, разглядывал ее, приговаривая:

— Какое лицо… Боже, какое лицо… Фаюмский портрет…

Но Бутонов про фаюмский портрет не знал, он обозлился, что она притащилась к нему, когда ее не звали, и права такого он ей пока что не давал.

— Витьк б нашего друг, врач известный,— похвалилась Ада.

— Да мы вчера с Валерой в бухты вместе ходили. Знаю уж.

— Тебя не обгонишь,— съязвила Ада, имея в виду что-то, Бутонову не известное.

— Это уж точно,— дерзко ответила Ника.

Тут заверещала Лизочка, и Ника, почувствовав смутно какой-то непорядок в начавшемся так восхитительно романе, выскользнула из двери, вильнув длинным йодистым платьем.

Вечер Ника провела с Машей — никто к ним не пришел. Они успели и покурить, и помолчать, и поговорить. Маша призналась Нике, что влюбилась, прочитала то стихотворение, что написала ночью, и еще два, и Ника впервые в жизни кисло отнеслась к творчеству любимой племянницы. Весь день она не могла улучить времени, чтобы поделиться с Машей вчерашним успехом, но теперь успех совершенно прокис, да и Машу не хотелось огорчать случайным соперничеством. Но Маша, занятая собой, ничего не замечала:

— Ник, что делать, Ник? Бред какой-то… Ты же знаешь, как я Альку люблю, меня же другие мужчины вообще никогда не занимают… Что делать, Ника?

И Маша смотрела на Нику, как в детстве, снизу вверх, с ожиданием. Ника, скрывая раздражение на Бутонова, который ее за что-то решил наказать, и на свою курицу племянницу, которая нашла, в кого влюбиться, идиотка, пожав плечами, ответила:

— Дай ему и успокойся.

— Как — дай?— переспросила Маша.

Ника обозлилась:

— Как, как! Ты что, маленькая? Возьми его за…!

— Так просто?— изумилась Маша.

— Проще пареной репы,— фыркнула Ника.

Вот дура невинная, еще и со стихами. Хочет вляпаться — пусть вляпается…

— Знаешь, Ника,— решилась вдруг Маша,— я поеду на почту сейчас, позвоню Алику. Может, он приедет — и все встанет на свои места.

— Встанет, встанет,— зло рассмеялась Ника.

— Пока!— резко вскочила Маша с лавки и, прихватив куртку, побежала на дорогу. Последний автобус, десятичасовой, уходил через пять минут…

На городской почте первым человеком, которого увидела Маша, был Бутонов. Он стоял в переговорной будке, к ней спиной. Телефонная трубка терялась в его большой руке, а диск он крутил мизинцем. Не поговорив, он повесил трубку и вышел. Они поздоровались. Маша стояла в конце очереди, перед ней было еще двое. Бутонов сделал шаг в сторону, пропуская следующего, посмотрел на часы:

— У меня сорок минут занято.

Лампы дневного света, голубоватые мерцающие палочки, висели густо, свет был резкий, как в страшном кино, когда что-то должно произойти, и Маша почувствовала страх, что из-за этого рослого, в голубой джинсовой рубашке киногероя может рухнуть ее разумная и стройная жизнь. А он двинулся к ней, продолжая свое:

— Бабы болтают… или телефон сломан, а мне дозвониться позарез нужно…

Подошла Машина очередь, она набрала номер, страстно ожидая услышать Аликов голос, который и вернул бы все на свои места. Но к телефону не подходили.

— Тоже занято?— спросил Бутонов.

— Дома нет,— проглотив слюну, ответила Маша.

— Давай по набережной пройдемся, а потом еще позвоним,— предложил он.

Бутонов вдруг заметил, что у нее симпатичное лицо и круглое ухо трогательно торчит на коротко остриженной голове. Дружеским жестом он положил руку на тонкий вельвет ее серой курточки,— Маша была ему по грудь, тонкая, острая, как мальчик.

«С ней воздух работать можно»,— подумал он.

— Говорят, здесь какая-то бочка на набережной и какое-то особое вино…

— Новосветское шампанское,— уже на ходу отозвалась Маша.

Они шли вниз, к набережной, и Маша вдруг увидела все со стороны, как будто с экрана: как они быстрым шагом, с видом одновременно вольным и целеустремленным, несутся вдоль курортного задника с вынесенными ко входам в санаторий вазонами с олеандрами, мимо фальшивых гипсовых колонн, мелким блеском сверкающего вечнозеленого самшита, мимо неряшливых, натруженных от павильонной жизни пальм, и местная мордастая проститутка Серафима мелькнула в глубине кадра, и несколько крепких шахтеров с выпученными глазами, и музыка — конечно, «О, море в Гаграх»… И при этом ноги ее радостно пружинили в такт его походки, и легкость праздника в теле, и даже какое-то бессловесное веселье, как будто шампанское уже было выпито.

Подвальчик, куда привела Маша Бутонова, ему понравился. Шампанское, которое принесли, было холодным и очень вкусным. Кино, которое начали показывать по дороге к набережной, продолжалось. Маша видела себя сидящей на круглом табурете, как будто сама находилась чуть правее и позади, видела Бутонова, повернувшегося к ней вполоборота, и, что самое забавное, одновременно и золотозубую, в золотой кофте барменшу, которая находилась у нее за спиной, и мальчиков, полугрузчиков-полуофициантов, которые тащили из подвала, с заднего хода, ящики. Все приобретало кинематографический охват и одновременно кинематографическую приплющенность. И еще — обратила внимание Маша — в качестве теневой фигуры сама она выглядит хорошо, сидит спокойно и прямо, профиль красивый, и волосы узким мысом сходят на длинную шею сзади…

Да-да, кино разрешает игру, разрешает легкость… страсть… брызги шампанского… он и она… мужчина и женщина… ночное море… Ника, ты гениальная, ты талантливая… никакой тяжести бытия… никаких натуженных движений к самопознанию, самосовершенствованию, к само…

— Отлично здесь,— сказала она с Никиной интонацией.

— Хорошее винцо… Еще налить?

Маша кивнула.

Умная Маша, образованная Маша, первая из всей компании начавшая читать Бердяева и Флоренского, любившая комментарии к Библии, к Данте и к Шекспиру больше, чем первоисточники, выучившая домашним способом, если не считать плохонького заочного педагогического, английский и итальянский, написавшая две тоненьких книжечки стихов, правда еще не изданных; Маша, умевшая поговорить с заезжим американским профессором об Эзре Паунде и о Никейском соборе с итальянским журналистом-католиком,— молчала. Не хотелось ей ничего говорить.

— Еще налить?— Бутонов посмотрел на часы.— Ну что, попробуем еще раз позвонить?

— Куда?— удивилась Маша.

— Домой, куда…— засмеялся Бутонов.— Ты даешь.

Кино как будто немного отодвинулось, дав место прежнему беспокойству. Но курортные декорации снова вытянулись по струнке, пока они шли обратной дорогой к почте.

Бутонов сразу же дозвонился, задал несколько коротких деловых вопросов, узнал от жены, что поездка в Швецию не решилась, и повесил трубку. Маша звонила следом за ним, и теперь ей хотелось только одного: чтобы Алика дома не было. Его и не было. Звонить Сандре она не стала — там рано укладывались спать, и к тому же Ника завтра будет в Москве, и письмо Сандре она уже написала.

— Не дозвонилась?— рассеянно спросил Бутонов.

— Дома нет. Закатился куда-то мой муж.

Эти слова были сплошной ложью — она так не думала. Алик, скорее всего, был на дежурстве. Кроме того, ложь была и в том, как небрежно она это произнесла…

Но по закону кино, которое продолжалось, все было правильно.

— Ну что, пошли?— спросил Бутонов и посмотрел на Машу с сомнением.— Может, такси?

— Нет здесь никакого такси, всю жизнь здесь по ночам пешком ходим. Днем-то дозвониться невозможно. Два часа ходу…

Они свернули с освещенной улицы в боковую, прошли метров пятьдесят. Ни фонари, ни олеандры здесь не произрастали, улица сразу стала деревенской, черной. К тому же дорога шла то криво в горку, то, спотыкаясь, спускалась вниз. Темень на земле была непроглядной, зато на небе тьма не была такой равномерной, над морем небо было как будто светлее, а западный край хранил слабое воспоминание о закате. Даже звезды были какие-то незначительные, вполнакала.

— Здесь скостим немного.— Маша юркнула вниз по стоптанной глинистой тропинке, не то к лесенке, не то к мостку.

— Неужели ты видишь что-нибудь?— Бутонов коснулся ее плеча.

— Я как кошка, у меня ночное видение.— В темноте он, не видя ее улыбки, решил, что она шутит.— В нашей семье это бывает. Между прочим, очень удобно: видишь то, чего никто не видит…

Это была такая многозначительная женская подача сигнала, пробросок, чтобы уменьшить расстояние между людьми, огромное, как бездна морская, но способное сворачиваться в один миг.

Они вошли в Поселок, и Маша понимала, что через несколько минут они расстанутся, и это было невозможно.

— Стой!— сказала она ему в спину, когда они проходили мимо Пупка.— Вот сюда.

Он послушно свернул в сторону. Теперь Маша шла впереди.

— Вот здесь,— сказала она и села на землю.

Он остановился рядом. Ему вдруг показалось, что он слышит удары ее сердца, а у нее самой было такое ощущение, что сердце отбивает набат на всю округу.

— Сядь,— попросила она, и он присел рядом на корточки.

Она обхватила его голову:

— Поцелуй меня.

Бутонов улыбнулся, как улыбаются домашним животным:

— Очень хочется?

Она кивнула.

Он не чувствовал ни малейшего вдохновения, но привычка добросовестного профессионала обязывала. Прижав ее к себе, он поцеловал ее и удивился, какой горячий у нее рот. Ценя во всяком деле правила, он и здесь их соблюдал: сначала раздень партнершу, потом раздевайся сам. Он провел рукой по молнии ее брюк и встретил ее судорожные руки, расстегивающие тугую молнию. Она выскользнула из жестких тряпок и теребила пуговицы его рубашки. Он засмеялся:

— Тебя что, дома совсем не кормят?

Это ее забавное рвение его немного взбудоражило, но он не чувствовал себя в хорошей готовности, медлил. Горячие касания ее рук — Ника, Ника, я взяла!— отчаянный стон — Бутонов! Бутонов!— и он понял, что может произвести необходимые действия.

Изнутри она показалась ему привлекательней, чем снаружи, и горячей, как давняя его любовь — наездница Розка.

— У тебя там что, печка?— засмеялся он.

Но она смеяться и не думала, лицо ее было мокрым от слез, и она только бормотала:

— Бутонов, какой ты!.. Бутонов, ты…

Бутонов ощутил, что девушка сильно опережает его по части достижений, и уверился, что она из той же породы, к которой принадлежала Розка,— яростная, скорострельная и даже внешне немного похожая, только без африканских волос. Он обхватил ее маленькую голову, больно прижав уши, сделал движение, от которого удары ее сердца почувствовал так, словно находился у нее в грудной клетке. Он испугался, что повредил ее, но было уже поздно — извини, извини, малышка…

Когда он встал на колени и поднял голову, ему показалось, что они попали в луч прожектора: воздух вокруг светился голубоватым светом и видна была каждая травинка. Никакого прожектора не было — посреди неба катилась круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая.

— Извини, но представление окончено.— Он шлепнул ее по бедру.

Она встала с земли, и он увидел, что она хорошо сложена, только ноги чуть кривоваты и поставлены, как у Розки, таким образом, что немного не сходятся наверху. Этот узенький треугольный просвет ему нравился — лучше уж, чем толстые ляжки, которые трутся друг о дружку и набивают красные пятна, как у Ольги.

Он был уже одет, а она все стояла в лунном свете, и он истолковал ее медлительность ложным образом,— но теперь ему хотелось спать, а перед сном еще додумать свою думу об отодвинувшейся поездке…

Поселок был теперь весь как на ладони, и Бутонов увидел ту тропинку, которая вела его прямо к Витькову дому, на задах Адочкиного двора. Он прижал к себе Машу, провел пальцем по ее тонкому хребту:

— Тебя проводить или сама добежишь?

— Сама,— но не ушла, задержала его: — Ты не сказал, что любишь меня…

Бутонов засмеялся, настроение у него было хорошее:

— А чем мы с тобой тут только что занимались?

Маша побежала к дому — все было новое: руки, ноги, губы… Какое-то физическое чудо произошло… какое безумное счастье… неужели то самое, за чем Ника всю жизнь охотится?.. Бедный Алик…

Маша заглянула к детям: посреди комнаты стоял уже собранный рюкзак. Лиза и Алик спали на раскладушках, Катя стройно вытянулась на тахте. Ники не было — вероятно, легла в Самониной комнате, подумала Маша. Был большой соблазн разбудить ее немедленно и все выложить, но решила все же среди ночи ее не тревожить. Дверь в комнату Самони она не открыла и на цыпочках прошла в Синюю…

Приключения Бутонова в тот вечер еще не кончились. Дверь в Витьков дом он нашел приоткрытой и удивился: обычно он закладывал ее снаружи на петлю, хотя замка и не вешал. Он вошел, скрипнув дверью, скинул кроссовки на половичке и прошел во вторую комнату. На высокой постели, по-украински сложноустроенной: с подзором, покрывалом, горой регулярных подушек, которую каждое утро по ранжиру выстраивала Ада,— на белом тканевом одеяле, разметав длинные волосы по разоренным подушкам, спала Ника. На самом деле она уже проснулась, услышав скрип двери. Она открыла глаза и засияла несколько разыгранной счастливой улыбкой:

— Вам сюрприз! С доставкой на дом!

…Второй подход к снаряду всегда был у Бутонова удачней первого. Ника была проста и весела, не омрачала последней ночи глупыми упреками, не сказала ничего такого, что могла бы сказать обиженная женщина. Бутонов, исходя все из тех же правил обращения с женщинами, первым из которых он не успел сегодня воспользоваться из-за расторопности Маши, воспользовался вторым, но самым главным: никогда не пускаться с женщинами в объяснения. На рассвете, к полному и взаимному удовольствию, Ника покинула Бутонова, не забыв записать свой телефон в его записную книжку…

Когда Ника вернулась, Медея уже сидела с чашкой, распространяющей запах утреннего кофе, и по лицу ее не было понятно, видела ли она из кухонного окна, как Ника возвращается домой. Впрочем, скрывать что бы то ни было от Медеи нужды не было: молодежь всегда была уверена, что Медея знает все про всех. Ника поцеловала ее в щеку и тут же вышла.

Проницательность Медеи, вообще говоря, сильно преувеличивали, но именно сегодня она оказалась в эпицентре: ночью, в третьем часу, после терпеливого и бесплодного ожидания сна она вышла на кухню, чтобы выпить свой «бессонный декокт», как называла она заваренную с медом ложку мака, вышедшая одновременно с ней луна осветила взгорок, на котором резвилась молодая парочка, ослепительно сверкая белыми неопознанными телами. Немного спустя, когда она уже выпила свой декокт мелкими внимательными глотками и лежала в своей комнате, она слышала, как отворилась соседняя дверь и легко звякнули пружины. «Маша вернулась»,— подумала Медея и задремала.

Теперь, видя вернувшуюся утром Нику, Медея на минуту задумалась: молодой человек, собственно говоря, был один на всю округу — спортсмен Валера с железным телом и поповской прической хвостиком. Так Медея отметила это событие и сложила его туда, где хранились прочие ее наблюдения о жизни молодой родни с их горячими романами и нестойкими браками.

Снова вошла Ника, с горой только что снятого с веревки белья:

— Для литовцев приготовила. Еще поглажу до отъезда…

В полдень сосед отвозил в Симферополь Нику, Катю и Артема.

За полчаса до полудня Ника со стопкой свежего белья вошла в Синюю комнату, которую Маша освобождала для литовцев, и здесь-то, впервые за утро оставшись с Машей наедине, Ника получила безмерно ее удивившее признание.

— Ника, это ужасно!— сияла Маша осунувшимся лицом.— Я так счастлива! Все оказалось так просто… и потрясающе! Если бы не ты, я никогда бы не осмелилась…

Ника села на стопку белья.

— Не осмелилась — что?

— Я взяла его, как ты сказала,— засмеялась Маша счастливым смехом.— Оказалось, ты права. Как всегда, права. Надо было только руку протянуть.

— Когда?— только и смогла выдавить Ника.

Маша начала подробный рассказ, как на почте… Но Ника ее остановила: не было у нее времени на пространный рассказ, она задала еще только один, и, казалось бы, совершенно странный, вопрос:

— Где?

— На Пупке! Прямо на Пупке все и произошло. Как в итальянском кино. Теперь на этом месте можно поставить крест в память о моей несгибаемой верности мужу!— И Маша улыбнулась своей умной и прежней улыбкой.

Ника никак не предполагала, что ее раздраженный совет будет принят с такой торопливой буквальностью. Но Бутонов был не промах…

— Ну что же, Машка, теперь тебе будет о чем стихи писать, любовную лирику…— предсказала Ника. И нисколько не ошиблась.

«Нехорошо как… Подарить, что ли, ей этого спортивного доктора,— думала Ника.— Ладно, все равно я уезжаю. Как будет, так и будет…»

Сундучок кожаный, в деревянных гнутых ободьях, выклеенный изнутри бело-розовым полосатым ситцем, наполненный перегородчатыми коробками, сложно взаимодействующими между собой и образующими ряд полочек и отделений, принадлежал некогда Леночке Степанян. С этим сундучком она вернулась в девятьсот девятом году из Женевы, с ним путешествовала из Петербурга в Тифлис, с ним в одиннадцатом году приехала в Крым. С этим сундучком она вернулась в Феодосию в девятнадцатом, и здесь, перед отъездом в Ташкент, он был подарен Медее.

Три поколения девочек замирали перед ним с вожделением. Все они верили в то, что сундучок Медеи полон драгоценностями. И в самом деле, там лежало несколько бедных драгоценностей: большая перламутровая камея без оправы, которую проели в двадцать четвертом году, три серебряных кольца и кавказский наборный пояс, мужской, и к тому же на очень узкую талию. Но помимо этих ничтожных драгоценностей в сундучке было все, о чем мог мечтать Робинзон Крузо. В безукоризненном порядке, надежно упакованными лежали свечи, спички, нитки всех цветов, иголки и пуговицы всех размеров, шпульки к несуществующим швейным машинкам, крючки для брюк, шуб, рыбной ловли и вязанья, марки царские, крымские, немецкие оккупационные, шнурки, тесьма, кружево и прошивки, тринадцать разноцветных прядей волос от первой стрижки годовалых детей Синопли, завернутых в папиросную бумагу, множество фотографий, трубка старого Харлампия и еще много чего.

В двух нижних ящиках хранились письма — разложенные по годам, непременно в цельных конвертах, аккуратно вспоротых сбоку с помощью разрезального ножа. Здесь же хранились и разнообразные справки, среди них и курьезные, например бумага об изъятии велосипеда у гр. Синопли для транспортных нужд Добровольческой армии. Это был настоящий семейный архив, и, как всякий настоящий архив, он укрывал неразгласимые тайны. Впрочем, тайны попали в надежные руки и сохранялись, насколько это от Медеи зависело, довольно тщательно, по крайней мере первая из имеющихся. Она содержалась в письме, на имя Матильды Цырули, которое было помечено февралем тысяча восемьсот девяносто второго года. Пришло письмо из Батума, написано оно было на очень плохом русском языке и подписано грузинским именем Манана. Медея предполагала, что Манана была женой старшего брата Матильды, которого звали, кажется, Сидором. Письмо, с выправленной орфографией, следующее:

«Матильда дорогая подруга, на той неделе еще говорили, что они утопли, твой Тересий и братья Кармаки. А позавчера в Кобулетах вынесло его на берег. Узнавали его свидетели Вартанян и Курсуа-фуражка. Похоронили и Царствие Небесное, больше ничего не могу сказать. Когда ты сбежала, он стал еще злей, побил дядю Платона, с Никосом всегда дрался. Тебя Бог отпустил. У меня очень болят ноги. Ту зиму почти не могла ходить. Исидор мне помогает. Ему будет большая награда. Венчайся сразу теперь. Любовь мою тебе посылаю и Бог с тобой.

Манана».

Медея нашла это письмо спустя несколько лет после смерти родителей и скрыла его от братьев и сестер. Когда юная Сандрочка начала свои первые похождения, Медея рассказала ей эту историю с какой-то смутной педагогической целью. Она как будто пыталась заклясть Сандрочкину судьбу, предупредить неудачи и трудный поиск участи, через который, как следовало из этого письма, прошла их мать Матильда. Медея была глубоко убеждена, что легкомыслие приводит к несчастью, и никак не догадывалась, что легкомыслие с равным успехом может привести и к счастью, и вообще никуда не привести. Но Сандра с детства вела себя так, как хотела ее левая нога, и Медея никогда не могла понять этого непостижимого для нее закона «левой ноги», закона прихоти, ежеминутного желания, каприза или страсти. Вторая семейная тайна была связана именно с этой Сандрочкиной особенностью и до поры была скрыта от самой Медеи на нижней полке однодверного платяного шкафа, в офицерской полевой сумке Самуила Яковлевича.

В маленькой комнате, где Самуил провел последний, мучительный, год своей жизни, Медея устроили теперь себе уголок. Развернула мужнино кресло к окну, поставила сбоку сундук, на нем разложила те несколько книг, которые постоянно читала. В этой комнате она все время меняла белые занавески на еще более белые, стирала белесую крымскую пыль с книжной полки и шкафа с Самуиловыми вещами. Вещей его она не трогала.

Весь тот год Медея читала Псалтирь, каждый вечер по кафизме, заканчивала и начинала снова. Псалтирь у нее была старая, церковнославянская, сохранившаяся от детства. Вторая, греческая, принадлежавшая Харлампию, была для нее трудна, поскольку была написана не на языке понтийских греков, а на современном греческом, значительно отличавшемся. Еще была русско-еврейская, с параллельным переводом, виленского издания конца прошлого века, которая вместе с двумя другими еврейскими книгами лежала теперь на крышке сундучка. Медея иногда пыталась читать Псалтирь по-русски, и хотя некоторые места были как будто яснее по смыслу, но терялась таинственная красота затуманенного славянского…

Медея прекрасно помнила смуглое лицо молодого человека с толстой грубо раздвоенной верхней губой, его заостренный на кончике нос и большие плоские отвороты коричневого пиджака, когда он решительно подошел к Самуилу, сидящему на лавочке возле феодосийской автостанции в ожидании симферопольского автобуса. Молодой человек, прижимая локтем к боку три книги, остановился возле Самуила и задал лобовой вопрос:

— Извините, вы еврей?

Самуил, замученный болями, молча кивнул, не пожелав блеснуть какой-нибудь из своих обычных шуток.

— Возьмите, пожалуйста, у нас умер дед, и никто этого языка не знает.— Молодой человек начал совать в руки Самуилу потрепанные книги, и тут стало видно, что он страшно смущен.— Вы, может, почитаете когда-нибудь. Хаим звали моего деда…

Самуил молча раскрыл верхнюю книгу.

— Сидур… Я таки плохо учился в хедере, молодой человек,— задумчиво сказал Самуил, а юноша, видя нерешительность Самуила, заторопился:

— Вы, пожалуйста, возьмите, возьмите. Я же не могу их выбросить. Нам на что, мы же неверующие…

И коричневый юноша убежал, оставив три книги на лавке возле Самуила. Самуил посмотрел на Медею больными глазами:

— Ну, ты видишь, Медея…— Он запнулся, потому что догадался, что она видит все, что видит он, а сверх того еще кое-что, и ловко вывернулся: — Такую тяжесть придется теперь тащить в Симферополь и обратно…

Последний листок надежды облетел. Верующая не в случайность, а в Божий промысел, она поняла этот внятный знак без сомнения: готовься! И никакая биопсия, за которой они ехали в областную больницу, была ей с этой минуты не нужна.

Они посмотрели друг на друга, и даже Самуил, привыкший проговаривать немедленно все, что ни приходило ему в голову, промолчал.

Биопсии в Симферополе ему делать не стали, прооперировали на второй день, вынули большую часть толстого кишечника, сделали вывод в бок, стопу, и через три недели привезла его Медея домой, умирать.

Однако после операции ему постепенно делалось все лучше. Он, как ни странно, окреп, хотя худоба его была чрезвычайна. Медея кормила его одними кашами и поила травами, которые сама и собирала. Через несколько дней после возвращения из больницы он стал читать эти ветхие книги, и самый никудышный ученик Ольшанского хедера в последний год своей жизни, благословляя неизвестного ему Хаима, возвращался к своему народу, а православная Медея радовалась. Она никогда не изучала богословия и, может быть, благодаря этому чувствовала, что лоно Авраамово находится не так уж далеко от тех мест, где обитают христианские души.

Прекрасным был этот последний год его жизни. Осень стояла на дворе тишайшая, кроткая, необыкновенно щедрая. Старые татарские виноградники, давно не чищенные и заброшенные, одарили землю своим урожаем. В последующие годы старые лозы окончательно выродились, и вековые труды пропали даром. Груши, персики и помидоры ломили ветви. За хлебом стояли очереди, сахару в продаже не было. Хозяйки варили и солили томаты, сушили на крышах фрукты, а умелые, вроде Медеи, готовили татарскую пастилу без сахара. Украинские свиньи жирели на сладкой падалице, и медовый дух тлеющих плодов висел над Поселком.

Медея тогда заведовала больничкой — только в пятьдесят пятом прислали туда врача, а до той поры она была единственным фельдшером в Поселке. Ранним утром она входила в комнату мужа с тазом теплой воды, снимала нескладный и грубо сделанный аппарат с больного бока, чистила, обмывала рану отваром ромашки с шалфеем. Он, морщась не от боли, а от неловкости, бормотал:

— Ну где же справедливость? Мне достался мешок с золотом, а тебе мешок с говном…

Она кормила его водянистой кашей, поила из пол-литровой кружки травным отваром и ждала, подставив под бок лоток, пока каша, совершив свой короткий путь, не изольется из открытой раны. Она знала, что делала: травы вымывали из него яд болезни, пища же практически не усваивалась. Смерть, к которой оба они готовились, должна была наступить от истощения, а не от отравления.

Брезгливый Самуил поначалу отворачивался, страдал от обнажения всей этой неприятной физиологии, но потом почувствовал, что Медея не делает ни малейшего усилия, чтобы скрыть отвращение, что воспалившийся край раны или задержка этого самого истекания слегка изменившей вид каши действительно волнуют ее гораздо больше, чем неприятный запах, идущий от раны.

Боли были сильными, но нерегулярными. Иногда несколько дней проходили спокойно, потом образовывалось какое-то внутреннее препятствие, и тогда Медея промывала стопу кипяченым подсолнечным маслом, и все опять налаживалось. Это была все-таки жизнь, и Медея готова была нести этот груз бесконечно…

По утрам часа три она проводила возле мужа, к половине девятого уходила на работу и прибегала в обед. Иногда, когда в пару с ней работала Тамара Степановна, старая медсестра, та отпускала ее с обеда, и уж больше Медея на работу не возвращалась. Тогда Самуил выходил во двор, она усаживала его в кресло и сама садилась рядом на низкой скамеечке, чиркая маленьким ножичком с почти съеденным лезвием по грушам или очищая от кожицы зашпаренные помидоры.

К концу жизни Самуил стал молчалив, и они тихо сидели, наслаждаясь взаимным присутствием, покоем и любовью, в которой не было теперь никакого изъяна. Медея, никогда не забывавшая о его редком природном беззлобии, о том событии, которое он считал своим несмываемым позором, а она — искренним проявлением его кроткой души, радовалась теперь тихому мужеству, с которым он переносил боль, осознанно и бесстрашно приближался к смерти и буквально источал из себя благодарность, направленную на весь Божий свет и в особенности на нее, Медею.

Он обычно ставил кресло так, чтобы видны были столовые горы, сглаженные холмы в розово-серой дымке.

— Здешние горы похожи на Галилейские,— повторял он вслед за Александром Ашотовичем Степаняном, которого никогда не видел, как и Галилейских гор. Знал только со слов Медеи.

Ту книгу, отрывки из которой когда-то хуже всех он прочитал на празднике своего совершеннолетия полвека тому назад, он читал медленно. Забытые слова, как пузырьки воздуха, поднимались со дна памяти, а если этого не происходило и квадратные буквы не желали ему открывать своего сокровенного смысла, он искал в параллельном русском переводе приблизительную подсказку.

Сил у него было мало. Все, что он делал, он делал теперь очень медленно, и Медея замечала, как изменились его движения, с какой значительностью и даже торжественностью он подносит чашку ко рту, вытирает иссохшими пальцами отросшие за последние несколько месяцев усы и короткую с проседью бороду. Но словно в компенсацию за этот физический упадок — а может, Медеины травы так действовали — голова была ясная, мысли хоть и медлительные, но очень четкие. Он понимал, что времени жизни осталось мало, но, как ни удивительно, чувство вечной спешки и присущая ему суетливость совершенно оставили его. Теперь он мало спал, дни и ночи его были очень длинными, но он не тяготился этим: сознание его перестраивалось на иное время. Глядя в прошлое, он изумлялся мгновенности прожитой жизни и долготе каждой минуты, которую он проводил в плетеном кресле, сидя спиной к закату, лицом к востоку, к темнеющему сине-лиловому небу, к холмам, делающимся в течение получаса из розовых хмуро-голубыми. Глядя в ту сторону, он совершил еще одно открытие: оказалось, что всю жизнь он прожил не только в спешке, но и в глубоком, от себя самого скрываемом страхе, вернее, во многих страхах, из которых самым острым был страх крови. Вспоминая теперь то ужасное событие в Василищеве — расстрел, которым он должен был руководить и которого так и не увидел, позорно грохнувшись в нервный припадок, он благодарил теперь бога за неприличную для мужчины слабость, за нервно-дамское поведение, спасшее его от душегубства.